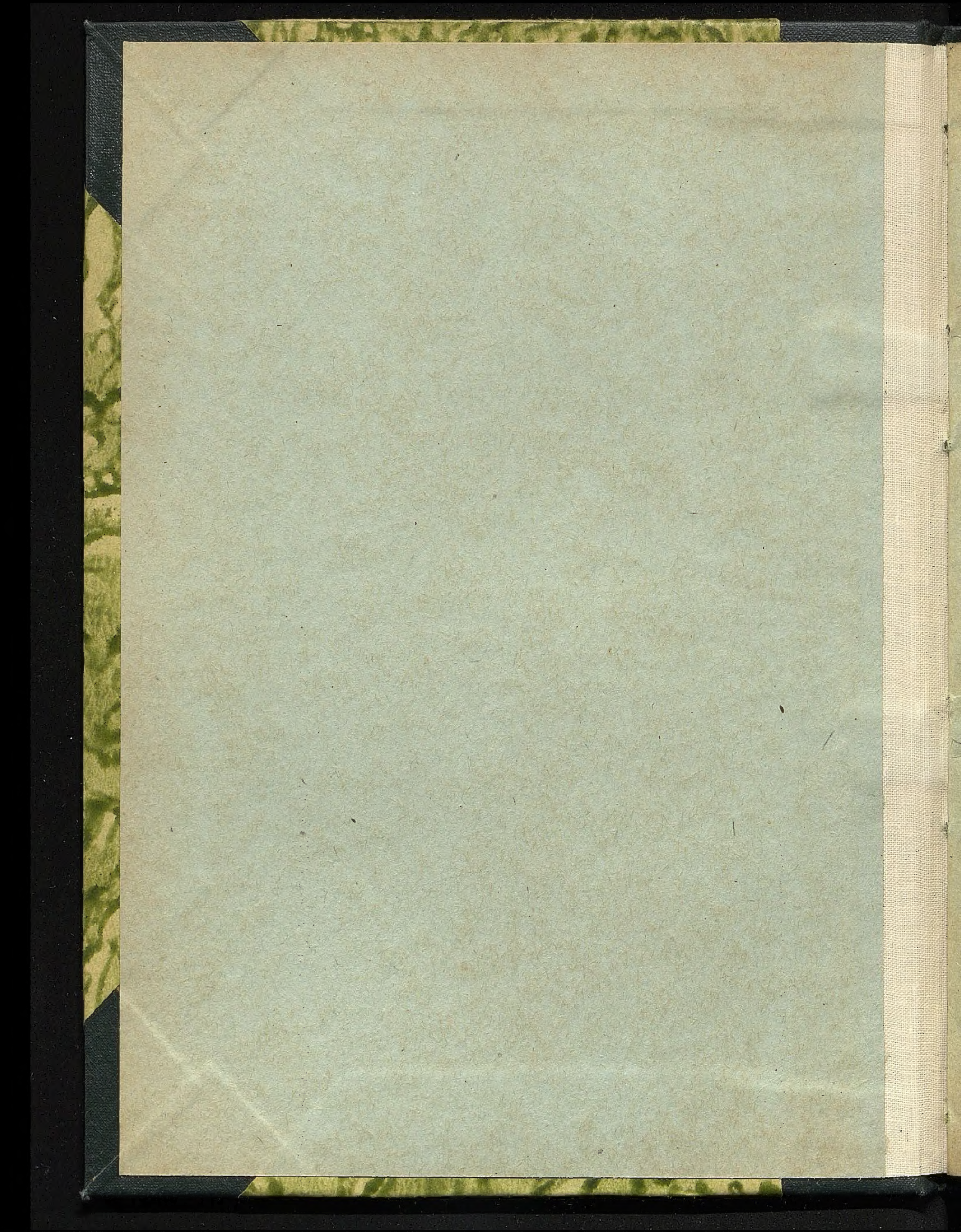
Февраль.
Сборник.
1922.
1 экз.



САРАТОВСКОЕ БЮРО ИСТПАРТА.

ФЕВРАЛЬ

СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ о 1917 г.



САРАТОВ.
Государственное Издательство
1922.




Саратовское Бюро Истпарта.

ФЕВРАЛЬ

СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ О 1917 г.

КНИГА ПЕРВАЯ.



Государственное Издательство
Саратов, 1922.

Р. В. Ц.—Саратов Исх. № 121.
Тираж—2000.

Губполиграфотдел 9-е отделение.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

„Февраль"—первый сборник Саратовского Истпарта посвящен пятилетней годовщине февральской революции, главным образом здесь в Саратове.

Несколько воспоминаний рисуют работу подпольной организации большевиков перед переворотом.

Печатая воспоминания, Истпарт почти не изменял их, помещая все так, как оно отражается в памяти участника. Благодаря этому в сборнике имеются разногласия в различных воспоминаниях об одном и том же событии (напр.—число и месяц получения в Саратове первой телеграммы об образовании революционного комитета).

Надеемся в дальнейшей работе, получая еще воспоминания об этом, а главное сохранившийся печатный материал того времени, давая оценку всего с точки зрения историка—установить истину и все, могущие что либо дать, приглашаются помочь нам.

Два явления тормозили выход сборника. Первое—то, что участники февраля и работавшие здесь в подполье раз'ехались по всей Республике. Связаться пришлось лишь с некоторыми из них, но для первого сборника они ничего не дали. Благодаря чему сборник страдает тем, что неполно освещена подп. работа и послефевральский ход событий.

И второе то, что товарищи, писавшие, относились очень небрежно к заданию, данному им Истпартом, усиленно отговаривались неимением времени и часть сдала свои воспоминания не продумав, не разработав, как следует, написав в последний день в 1—$1^1/_2$ часа.

Такое отношение должно быть изжито. Оно ничем не оправдывается. Каждый товарищ должен обязательно вспомнить все, имеющееся в его жизни и дать воспоминания Истпарту.

Мы уверены, что последующие сборники выйдут при дружном энергичном участии всех товарищей.

Бюро Истпарта.

Февральская революция и Большевики.

Прологом февральской революции явилась империалистическая война, вступая в которую Россия взяла на себя непосильное для нее бремя. Существуя главным образом на иностранные займы, извлекая доходы главным образом из винной монополии и косвенных налогов, царская Россия накануне войны пережила весьма острый финансовый и экономический кризис, навеянный приближающимся мировым экономическим кризисом. Возросшая с 1912 года волна забастовок грозила залить всю Россию своим огненным потоком и утопить в своих волнах гнилой трон самодержавия. Бьющее ключем революционное настроение питерских рабочих, этой цитадели большевизма, вылилось в постройке баррикад и в непоколебимой готовности продолжать борьбу с врагами рабочего класса до полного уничтожения таковых. Несмотря на свое поражение, доказательством чего явился локаут, рабочие не унывали, а твердо верили в свою победу, ибо для всех было чрезвычайно ясно, что самодержавие не в силах долго выдержать напор организованных рабочих. Атмосфера была насыщена грозой и все готовились к ней. Вдохновителями и руководителями всех выступлений были большевистские коллективы, имеющиеся на каждом заводе, в каждой мастерской. В связи с избиением рабочих на Путиловском заводе были устроены демонстрации протеста во всех рабочих районах, среди которых выделился Выборгский район. В день приезда французской делегации около 20 тыс. рабочих залили всю Сампсониевскую площадь в знак протеста против насилий, чинимых самодержавием над рабочими и в доказательство того, что между правительством и рабочими зияет пропасть. Уличные выступления рабочих закончились к 12 июля, но стачечная волна еще не улеглась. Возбужденные группы рабочих не давали всей рабочей массе снова войти в мирную колею, тем более, что стало известно о решении заводчиков—закрыть все заводы в наказание за забастовку. Все же в связи с предстоящим об'явлением войны и вытекающей отсюда мобилизации заводчики отменили свое постановление и снова открыли заводы, так что за несколько дней до мобилизации рабочая жизнь в Питере вошла в колею. Несмотря на разгул репрессии, на отсутствие газет и двухнедельную безработицу настроение рабочих было весьма бодрое, ибо они увидели свою силу, свою братскую солидарность. Несмотря на то, что рабочие сами готовились к войне с буржуазией и самодержавием, они внимательно следили за переговорами между Германией и Россией. Но когда была об'явлена война 17-го июля, а вслед за тем, 19 июля, последовал приказ о мобилизации, организованные рабочие не могли поднять рабочих на восстание, ибо, в связи с поведением западных рабочих, положение стало настолько сложным, что нельзя было сгруппировать рабочих вокруг какого либо определенного мнения. Путем патриотических манифестаций, при помощи патриотических газет, на которые правительство не жалело денег, создали шовинистический угар, который стал кружить голову даже многим рабочим. Меньшевистская фракция Государственной Думы во главе с Чхеидзе развернула широкую агитацию за „оборону“ России от германского милитаризма.

Переход „отца марксизма“ в России, крупнейшего теоретика II Интернационала Плеханова, на сторону „оборонцев“ ставил большевиков в чрезвычайно трудное положение, тем более, что виднейший вождь Большевиков тов. Ленин находился за границей и не мог свободно руководить группой своих сторонников.

Арест рабочей фракции в лице шести членов Гос. Думы, рабочих-большевиков, показал всем рабочим, что никакого внутреннего мира нет и быть не может, так как правительство пользуется всяким случаем, чтобы разбить рабочих на голову.

В ответ на арест рабочих депутатов началось новое движение рабочих. Везде живо обсуждалась позиция Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. (Б.) заявившего, что поражение России явится наименьшим злом, ибо оно создаст предпосылку для гибели самодержавия и революции. „Пораженцы“ должны были вызвать восстание в войсках деятельной, подпольной работой большевистских агитаторов. Находящиеся в армии „пораженцы“ развернули лихорадочную деятельность, разоблачая истинные цели войны и сущность царской власти. Не без влияния на настроение войсковых частей остались преступные деяния царских генералов и самого царя, который раз‘езжая по фронту являлся олицетворением разврата и разложения. Стянутые со всех концов России крестьянские сыновья своими глазами могли убедиться в святости всех этих священных особ, начиная с помазанника Божия Николая II и кончая омерзительной фигурой Григория Распутина.

Ясно, что имея перед своими глазами такие примеры преступности и продажности, войско не могло питать никакого доверия к правительству Николая последнего. Возмущение росло стихийно, но большевики придавали ему организованную форму, ставя перед рабочими вопросы дальнейшего развития революции после свержения, а крестьянам и солдатам говоря, что мир и земля находятся в руках помещиков и царя. Поэтому борьба за землю и мир есть прежде всего борьба против царя и помещиков.

Этой спаянной жизненной агитации, рисующей перед всеми трудящимися осуществление их давнишней мечты, перед этим мощным пробуждением классового инстинкта рабочих и крестьян, смешными и жалкими кажутся попытки меньшевиков оборонцев удержать этот весенний поток в узких рамках патриотизма. Могли ли рабочие и крестьяне успокаиваться на том, что отдавая миллионы своих сыновей Россия получит какие то Дарданеллы, куда будет вывозиться чей то хлеб, какие то товары русских купцов. Ясно, что такими меньшевистско-оборонческими баснями русского соловья нельзя было кормить. Он запел свою победоносную песню буревестника, какую еще не слыхивал мир.

Встревоженная звуками этой грозной песни, чуя близость бури, буржуазия и самодержавие стали готовиться к событиям. 23 февраля вечером по инициативе председ. 4-ой Гос. Думы М. Родзянко в Мариинском дворце было созвано экстренное совещание с целью создать организацию для удовлетворения продовольственной нужды в особенности в предприятиях, работающих на оборону. Происходящий в этот же день праздник международного женского дня превратился в пролог грядущих выступлений рабочих и работниц. 24-го февраля движение приняло всенародные формы. Из рабочих кварталов шли и шли рабочие толпы, местами соединяясь в грандиозные демонстрации. Рабочие требовали не только хлеба, но и мира и свободы. 24 числа около Литейного проспекта полиция пустила в ход оружие. В толпе оказались жертвы, но рабочие уже не могли разойтись по домам, ибо они поняли, что наступил решительный час. Над жертвами взвились знамена и полились потоки революционных песен.

Полиция пыталась подавить „восстание хулиганов“, „бунт голодной черни“, как революцию определяли царские министры и лидер кадетов Милюков.

25-ое и 26-ое февраля прошли в кровавых схватках между рабочими и властью. Но надежной опоры самодержавия—верности войсковых частей вплоть до казаков уже не оказалось. Как „волынцы“ первыми вышедшие из повиновения самодержавию, так и все остальные части войск остались верны своему классовому чутью и повернули штыки против своих повелителей. Лозунг пораженцев об использовании поражения в целях свержения самодержавия оказался близким к осуществлению. Но несмотря на сильное шатание трона скипетр еще не выпал из рук Николая II и он пытался показать твердость своей власти. 26-го февраля Царю было отправлено тревожное сообщение о грозящей ему опасности. Предс. Государ. Думы М. Родзянко предупреждал Николая, что династия в опасности.

В ответ на такое предостережение указом Николая от 27-го февраля была распущена Гос. Дума. Правые депутаты во главе с Милюковым хотели подчиниться этому решению, но более левая часть восторжествовала, т. к. указывала, что подчиниться Николаю означает подчиниться бессилию. В тот же день ночью был избран Временный Исполнительный Комитет Государственной Думы, который принял на себя управление страной. Среди всех 13-ти членов этого Правления только двое Керенский и Чхеидзе называли себя социалистами, хотя оба стояли в лагере оборонцев. Временное Правительство еще верило в возможность восстановления порядка. По мнению Милюкова немедленно надо было заставить отречься Николая и передать корону его сыну Алексею, а временным правителем (регентом) назначить Михаила, брата царя. Так как защитники идеи республиканского строя оказались в меньшинстве, то на них просто не обращали внимания.

В ту же ночь с 27-го на 28-е февраля был образован Совет Рабочих и Солдатских Депутатов из представителей фабрик, заводов, социалистических партий и частей войск.

Революция снова стала фактом, но Николай все еще оставался на троне и буржуазия вкупе с помещиками прилагали все усилия, чтобы спасти его корону; так буржуазия хотела иметь „большой дворцовый переворот, но маленькую революцию“. Под напором революционной стихии, душой которой пока еще оставались большевики, специальная комиссия в составе Львова и Шульгина, ярых черносотенцев, выехала в царскую ставку, чтобы добиться отречения царя. 2-го марта 1917 г. Николай Романов, в вагоне своего поезда, стоящего около Пскова, подписал акт отречения за себя и сына в пользу Михаила, который давно добивался трона и короны. Но Совет Раб. и Солдатских Деп. с этим не согласился и принудил также Михаила отказаться от престола. Для всех стало ясно, что переворот совершился окончательно, всерьез и навсегда.

Убедившись в невозможности спасти монархию, буржуазия решила спасти хоть часть былого величия дворянства и помещиков, для безпрепятственного продолжения войны. По словам тов. Троцкого на блестящей поверхности февральской революции резко обозначались три течения: либеральное, соглашательское и революционно-социалистическое. Либеральное направление проводили „кадеты“ во главе с Милюковым. Для них февральская революция была законченным целым, дальше которого они не могли идти. Плохое правительство, неспособное воевать, было устранено и можно было наконец, развернуться и показать мировым державам свою силу. Соглашатели, меньшевики и соц.-рев., идущие за одно с буржуазией, уверяли, что

революция не может обойтись без буржуазии, иначе совершится неправильное соотношение сил. Против такой постановки вопроса решительно возражали большевики, имеющие свое место на самом левом фланге революции, но составляющие меньшинство в Советах. Большевики доказывали, что классовые интересы рабочих и крестьян требуют решительных действий против помещиков и фабрикантов, ибо добровольно они, ни рабочим, ни крестьянам ничего не дадут, а наоборот постараются сорганизоваться для укрепления своей власти в ущерб трудящимся. Большевики считали, что мировая война империалистическая должна перейти в мировую войну гражданскую, как это указывала Кинтальская резолюция от 1916 г., предложенная Большевиками. Но имея возможность захватить всю власть Совет Раб. и Солд. Депутатов таковую уступил буржуазии. Совет добровольно решил превратить свои фунции в Законосовещательные, ибо отказавшись от права назначать и смещать министров, Совет, руководимый соглашателями меньшевиками и соц.-рев., ограничивал себя, выговаривая себе право отвода явно враждебных и опасных для революции кандидатур. Таким образом буржуазное по своему составу Врем. Правительство получало права директории, т. е. министры стали совершенно самостоятельными и безконтрольными хозяевами России, истекающей кровью под ударами мировой войны. Вопрос о власти встал перед пролетариатом во весь свой гигантский рост, так как большевики ясно понимали, что свержения буржуазии недостаточно, что нужно сначала подготовить те силы, на которые власть могла бы опереться.

Несмотря на стремление Вр. Правительства продолжать войну во чтобы то ни стало, оно должно было мириться с опубликованием воззвания ко всем народам мира, где Совет Раб. и Солд. Деп. призывает рабочих всех стран к прекращению войны. Майский праздник снова призывающий к миру вызвал Милюкова, министра иностранных дел, на откровенность. Успокаивая буржуазию Франции и Англии Милюков заявил, что Россия будет продолжать войну на прежних условиях. Эта нота, посланная 21 апреля, вызвала бурю негодования среди рабочих. Всем стало ясно, что в стране воцарилось двоевластие, предвещающее дальнейшее обострение классовой борьбы. Меньшевики и с.-р. возмущенно требовали отставки Милюкова и Гучкова, министра военных дел. Большевики же подчеркивали, что подобные явления прекратятся лишь с передачей всей власти Советам, ибо буржуазия иначе поступать не может, так как она на то и буржуазия, чтобы защищать интересы своего класса. Добившись ухода Милюкова и Гучкова и создав коалиционное министерство, где опять меньшевики оказались в меньшинстве, Советы успокоились и даже уговаривали рабочих отложить свои экономические требования затем, чтобы не вносить раскола в общенародное движение. Не буржуазия, а рабочие должны были уступить свои права. Но несмотря на уговоры меньшевиков, рабочие продолжали требовать 8-ми-час. раб. дня, как меру для укрепления сил рабочего класса. Поэтому 16 марта на заседании фракции большевиков Московск. Сов. Раб. и Солд. Деп. было решено ввести немедленно, явочным порядком, 8-ми-час. рабочий день. Остальные соц. партии, во главе с меньшевиками, предлагали подождать до издания общего декрета. Это при буржуазном то правительстве! На следующем заседании Совета вопрос о 8-час. раб. дне стоял первым в повестке. Чувствуя предательскую игру меньшевиков-оборонцев рабочие твердо заявляли, что если Совет будет плестись позади событий, то они введут 8-ми-час. день революционным, явочным порядком. В борьбе против введения 8-час. дня буржуазия пошла на крайнюю меру— она решила закрыть заводы, работающие

на оборону и всю вину взваливала на рабочих, надеясь вызвать возмущение крестьян и войск.

При таком положении, когда правительство явно шло против интересов трудящихся, наивно было предполагать, что оно доведет страну до Учред. Собрания. Временное Правительство всеми силами старалось оттянуть созыв Учред. Собрания, а тайком подбирало надежную военную силу, чтобы при ея помощи разогнать Советы и обезвредить большевиков. С каждым днем становилось яснее, что власть, которой доверяли постольку—поскольку она обещала провести в жизнь ту или другую реформу, что такое правительство является сплошным недоразумением и следовательно должно быть устранено.

Стремясь удержать свои позиции Вр. Правит. становилось все реакционнее и враждебнее рабочим. В целях терроризировать и истреблять лучшую часть рабочих и крестьян на фронте была введена смертная казнь. Гонения на большевиков приняли чудовищные формы. Ложь, клевета не знали границ. Большевиков об‘явили немецкими шпионами. Были даже попытки создать громкий процесс против т. Ленина и др. большевиков, якобы изобличенных в госуд. измене. Используя все средства буржуазия пыталась вызвать преждевременное восстание в Петрограде в начале июня, но под влиянием большевиков движение рабочих, спровоцированное Вр. Правительством, скоро было прекращено и вылилось в кипучую предвыборную деятельность, давшую большевикам перевес в октябрьских перевыборах Советов. Раскол крестьянского с‘езда, отдавшего свою левую часть Сов. Р. и Солд. Деп., измена Керенского, содействующего контрреволюционным генералам и помещикам, все это предрешало судьбу февральской революции, осужденной быть первым этапом весенней Русской революци. Как февральский, так и октябрьский переворот совершились безкровно, но для их расширения и углубления потребовалось и еще потребуется много жертв.

Февральская революция в России заложила основание мировой социальной революции, ибо она исполнила завет Интернационала, призывающего к восстанию против империализма. Величие февральской революции кроется в ее дальнейшем развитии, направленном к осуществлению коммунизма. Ярко классовая позиция большевиков была той путеводной звездой, которая не дала рабочим России стать жертвой буржуазии и помещиков, а вывела их на путь широкого социалистического строительства под руководством величайшего из строителей—тов. Ленина.

Э. Петерсон.

НАКАНУНЕ.

(Воспоминания).

В 1916 г. в апреле месяце, после моего освобождения из тюрьмы, Московская Охранка выслала меня в г. Саратов. После этой высылки я первоначально поехал в Екатеринослав и Харьков. Пристроиться работать нигде не удалось, и в средних числах мая я приехал в Саратов. Я пытался связаться с подпольной организацией С. Д. Б., но этого мне не удалось сделать. С товарищами, работающими в „Маяке" я связался, но они тоже не знали о существовании таковой организации. Мне не долго пришлось быть безработным; я поступил через Биржу Труда, которая в то время существовала в Саратове, на работу в качестве слесаря на завод „Жесть". Первое время моей работы, рабочие механического цеха относились ко мне недоверчиво, не зная кто я таков и откуда прибыл. Первое мое знакомство было с тов. Савельевым, который уже принимал активное участие в работе „Маяка".

Я беседовал с тов. Савельевым о настроении рабочих „Жесть" и узнал, что тов. Савельев тоже был выслан, как и я.

Кроме того выяснилось, что механическое отделение хочет пред'явить экономическое требование и если заводоуправление его не выполнит, то нужно об'явить забастовку. Я тоже принимал активное участие в подготовке этой забастовки, но подготовка оказалась слабой. Всех рабочих нам не удалось вовлечь в забастовку, и у нас был провал. В то время на заводе „Жесть" работало около 2.000 рабочих и работниц. Хотя эта забастовка была неудачна, но все таки она принесла известную пользу в том отношении, что мы сумели подсчитать свои силы и подготовили почву для дальнейшей работы, а также то недоверие, которое было со стороны рабочих механического цеха ко мне, изгладилось. После повседневной работы, чуть ли не каждый день активная часть рабочих начала посещать культурный центр или революционный очаг рабочих, общество внешкольного образования „Маяк". В „Маяке" мне пришлось связаться с многими т.т., которые были высланы. Перед нами стал вопрос о создании подпольной организации. Мы решили устроить массовку, на ней избрать инициативную группу, которая бы приступила к организации кружков.

Была проделана подготовительная работа: а) было поручено каждому товарищу, в отдельности, пригласить на массовку тех рабочих, которых он знает и на которых надеется; б) найдено место, о котором охранка еще не знает; в) также намечены картоны с условными знаками, чтобы на массовку не мог попасть шпик. В один из праздничных дней была назначена массовка, близ Кумысной Поляны, на которой присутствовало около 60 человек. На этой массовке тайным голосованием была избрана инициативная группа из 5 т.т.: Воробьева, Плаксина, Марциновского, Гульбиса и Букина, которым поручено организовать подпольные кружки С. Д. Б. количеством не более 5—7 человек. На первом заседании инициативная группа разграничила между собой функции: избрали секретаря, казначея, библиотекаря (в то время была более или менее порядочная библиотека), а также была

распределена вся работа: тов. Плаксину поручена работа в „Маяке“, больничной кассе механических заводов и организация союза металлистов, а также впоследствии организация рабочей амбулатории. Организацию рабочей амбулатории взял на себя тов. Игнат—Фокин, я только принимал участие в этой работе, помогая ему. Тов. Марциновскому было поручено проводить работу среди деревообделочников, а также организовать кружки и иметь связь с рабочими организациями. Тов. Гульбис—работа среди латышей, Букину—среди железнодорожников и связь с Москвой, Воробьеву—среди портных.

Инициативная группа устраивала свои заседания на квартире у тов. Гульбиса и у меня, иногда в „Маяке“. Среди тех вопросов, которые разрешались, рассматривалось одно заявление со стороны бундовцев с предложением совместной работы, которое было отклонено ввиду их шовинистического направления. Это и было доказано ими при организации столовой, а также нам были известны факты, говорящие за то, что они давали взятки охранке, дабы не попасть за решетку.

Инициативной группой было организовано шесть (6) подпольных кружков: 1 на заводе „Жесть“, 2 среди железнодорожников, 1 среди портных, 1 кружок женщин и 1 кружок латышей. Последний подразделялся на секции, т. к. в этот ружок входило около 20 человек, а согласно постановления инициативной группы кружки должны состоять не более как из 5—7 товарищей.

Работа кружков заключалась в разборе Эрфуртской программы, политической экономии Богданова, фин. капитала Гельфердинга и др. книг. Инициативная группа при обсуждении вопроса о связи с Поволжскими городами и создании областного бюро решила созвать летом 1916 г. (июнь) на Соколовой горе небольшое собрание из следующих товарищей: Игната, Барабошкина, Сапронова, Марциновского, Плаксина, Воробьева, Гульбиса и Букина. Там постановили послать в Самару для связи с Поволжскими городами тов. Игната. Связь нам не удалось установить, благодаря бдительности охранки, которой был оцеплен дом (в Самаре), где остановился тов. Игнат, и ему пришлось удирать через окно в одном белье.

Нами было проделано несколько экскурсий по музеям. Почти всегда они сопровождались шпиками, но неудачно. Охранники опознавались нашими товарищами, которые прямо указывали им на недопустимое и позорное действие—ходить за рабочими, желающими ознакомиться с историческими достопримечательностями музея. Одна из удачных экскурсий была—это поездка в Шахматовку близ Саратовской Мануфактуры. Там нам удалось провести общее собрание, а также заседание инициативной группы, где знакомились с постановлениями Циммервальдской конференции, обсуждали вопрос о рабочей кооперации, о роли профсоюзов во время забастовки.

Была попытка устроить массовку на „Зеленом Острове“, но охранка не оставила нас в покое, и шпики сопровождали нас до самого берега Волги. На берегу Волги мы устроили совещание и решили отложить эту массовку.

В продолжении этого времени состав инициативной группы изменился. Вместо выбывшего тов. Воробьева, кооптировали тов. Хрынина. Недостаток инициативной группы заключался в том, что среди нас не было теоретиков, которые могли бы читать лекции, писать прокламации и т. д., но все-таки нами была выпущена зимой прокламация по поводу империалистической войны, которая распространялась по фабрикам, заводам и мастерским, а частью расклеена по городу. Инициативная группа связалась с существующим здесь нелегально политическим „Красным Крестом“. Эта организация состояла из интеллигентов,

главным образом меньшевиков, частью кадетов, хотя к ним, по недоразумению, попала одна большевичка. Они помогали всем заключенным в тюрьме—как политическим, так и уголовным. Средства изыскивались различными путями. У нас сидело в тюрьме в то время несколько т.т., политические каторжане и вновь арестованные. Надо было им помочь, денег получаемых нами от членских взносов не хватало. Обратились в Красный Крест. Делегировали т. Марциновского и М. Тихомирову. Первый раз пришлось долго спорить с представителями Красного Креста. Они предлагали нам указать фамилию товарищей, они сами сорганизуют им передачу денег и продовольствия. Нам было необходимо получить от них деньги, мы хотели добавить к ним имеющиеся у нас и сделать товарищам, только что севшим, хорошую передачу, а главное быть уверенным, что она попадет именно тем, кто в ней нуждается.

После долгих споров они согласились. После этого условливались о дне и приходили получать деньги. Это помогало устроить планомерную помощь сидевшим нашим товарищам.

О работе кружков было уже сказано, но необходимо отметить работу кружка на заводе „Жесть", который проделал громадную работу в области революционизирования масс. На заводе „Жесть" до организации кружка общих собраний рабочих почти что не было, а если были иногда, в связи с выборами уполномоченных в больничную кассу, то они проходили под руководством директора завода, который председательствовал на общих собраниях и проводил уполномоченными тех, кого ему нужно. Видя такую ненормальность, мы повели подготовительную работу к общему собранию, на котором поставили вопросы об отчете уполномоченных и выборы таковых, ставя перед собой задачу взять под свое руководство общее собрание, а также провести своих уполномоченных в больничную кассу. Это нам удалось. На общем собрании меня избрали председателем и без сучка и задоринки мы провели намеченных нами уполномоченных в больничную кассу механических заводов.

Собрание дало возможность учесть настроение масс, которое говорило за то, что здесь имеется благодатная почва для нашей работы. Мы решили чаще устраивать общие собрания (которых после было проведено шесть), на них разрешались следующие вопросы: организация союза металлистов, создание рабочей амбулатории, организация рабочей кооперации, столовой, социальное страхование рабочих и др. Все эти собрания проводились первоначально при участии полицейских, потом околодочных и даже самого пристава. Необходимо отметить один характерный случай. На одном из общих собраний, в присутствии околоточного надзирателя выступал рабочий Мухоланин, который в своей речи отмечал преступные действия полиции. Околодочный надзиратель возмутился и после собрания предложил мне, как председателю, выдать таковую. Мне пришлось доказать ему, что при выступлении ораторов, он никого не прерывал, а раз так, то значит, противоправительственных выступлений не было и притом же мною давались слова выступавшим, не записывая их фамилии в протокол, о чем то-же ему известно: околодочный надзиратель, чувствуя за собой некоторые упущения, этот вопрос замял. При организации столовой на заводе „Жесть" у нас получились расхождения с раб. еврейск. организацией Бунд, которая настаивала на том, чтобы в этой столовой приготовлялось каширное мясо, мотивируя тем, что членами столовой являются большинство еврейских рабочих. Поэтому мы отказались от таковой. По прошествии некоторого времени они пригласили нас в столовую, отказываясь от прежнего решения. Столовая была открыта не только для того, чтобы рабочие могли там пообедать, а также для

проведения агитационной работы и культурного просвещения масс. Все вопросы, обсуждавшиеся на общих собраниях, проводились в жизнь: организован был рабочий кооператив, рабочая амбулатория и союз металлистов, председателем последнего был избран я. „Маяк“ представлял из себя революционный котел, где подготовлялись подпольные работники. Там читались лекции о рабочем движении Запада, по истории революции, физике, а также и устраивались беседы по кооперации, о Бирже Труда, страховании рабочих, разбор некоторых статей и т. д. Необходимо отметить встречу нового 1917 года в „Маяке“, где присутствовали почти все члены Маяка (около 100 чел.). Приготовлена была закуска, чай, выступали т.т. с речами, декламацией, пением. Продолжалась встреча до самого утра.

Один из товарищей, Майорчик (кличка) приветствуя новый год, сказал, что в 1918 г. будет встреча на свободе, без гнета царизма. Все т.т. уверенно чувствовали, что недалек тот день, когда рабочие, под давлением голода и эксплоатации, которая с каждым днем все усиливается, сбросят иго самодержавия. Эта встреча нового года у многих т.т. запечатлелась, и по настоящее время ярко стоит в памяти

Кроме вышеперечисленных работ нам удалось провести несколько общих собраний рабочих деревообделочников, металлистов, портных и др. в здании Городской Думы, на которых обсуждались вопросы о страховании рабочих, о работе в профсоюзах и больничных кассах.

Эти собрания нам не прошли даром, из нашей среды охранкой вырваны т.т. Игнат, Алексеев и др., которые были посажены в тюрьму, а потом высланы в Сибирь, но Февральская Революция застала их в пути следования, и их освободили. До Февральского переворота чувствовалось приподнятое настроение рабочих масс, как будто-бы ожидали руководящих указаний от пролетарских центров Питера и Москвы.

Вдруг неожиданно получаем известия 28-го февраля или 1-го марта о том, что организовано Временное Правительство во главе с Родзянко. В срочном порядке нами было созвано собрание в Городской Думе из активной части рабочих, работающих в больничных кассах, правлениях союзов и „Маяка“. Решили приступить к организации совета, установив порядок избрания депутатов. В этот же день мы собрали общее собрание подпольных работников в здании рабочей кооперации, уг. Мал. Царицынской и Михайловской, на котором информировали о происшедшем в Питере перевороте, а так же о постановлении на собрании в Городской Думе. Здесь происходил оживленный обмен мнений о создавшемся положении и проведена подготовка к организации совета рабочих депутатов. Распределили работу между каждым товарищем по выборам: на фабриках, заводах, мастерских, союзах, больничных кассах и т. д. Мне было поручено произвести выборы депутатов на заводах „Жесть“ Егорова и табачных фабриках. На заводе „Жесть“ выборы прошли с большим революционным под'емом, были избраны депутатами те товарищи, которых выставил подпольный кружок. На табачной фабрике прошли тоже оживленно. Но администрация фабрики чувствовала себя растерянно. Когда я заявил им о том, что сейчас необходимо созвать общее собрание для выборов депутатов в Совет, то администрация ответила, что мы, дескать, ничего не знаем, а если у Вас есть на это какие нибудь данные, то можете созывать. Такая отговорка администрации ничуть не помешала нам произвести выборы. Хуже обстояло дело с выборами на заводе Егорова, там рабочие отказывались выбирать депутатов, указывая на то, что для нас безразлично будут или не будут советы, от этого наше положение не улучшится. Пришлось долго разубеждать рабочих, введенных в заблуждение администрацией, и они потом осознали свою

ошибку. Последнее общее собрание подпольных работников происходило в „Маяке“ второго или третьего марта.

Стояли вопросы: 1) Наше отношение в настоящее время к империалистической войне, 2) Легализация организации и выборы комитета.

По 1-му вопросу выявились две точки зрения, одна революционного оборончества, а другая точка зрения, так называемая, пораженческая. За революционное оборончество голосовал только один, остальные поддерживали вторую. При обсуждении выборов комитета одни настаивали на том, чтобы он вел работу нелегально, а другие высказывались, чтобы работа велась полулегально; была принята вторая точка зрения. Комитет избрали из следующих т.т.: Милютина, Финикштейна, Плаксина, Марциновского, Васильева, Хрынина и Рапопорта. Председателем К-та был избран тов. Милютин, а секретарем Рапопорт.

Таким образом, организация с.-д. большевиков вышла из подполья и начала работу. Меньшевики в то время не сорганизовались, но здесь в Саратове были их крупные деятели: Майзель, Софья Моисеевна, Гутерман, д-р Розенблюм и др. С ними пришлось в первые же дни спорить о восьмичасовом рабочем дне, где они высказывались против него, т. к. война с Германией не кончена и надо всем работать на оборону страны. Из большевиков им возражали т т. Финикштейн, Плаксин, Марциновский, Хрынин и др., которые указывали, что наша задача не поддерживать войну, а скорее закончить эту кровавую бойню, и мы требуем 8-ми часовой рабочий день.

От нескольких меньшевиков сейчас же в 1-х числах марта поступило заявление во вновь избранный наш комитет, где они предлагали свои услуги работать вместе с нами, как меньшевики, иначе ставили вопрос ультимативно, что организуют меньшевистскую организацию.

По этому поводу созвано было заседание Комитета в быв. доме губернатора. Там долго спорили; часть членов комитета, главным образом интеллигенты, были согласны с их предложением, указывая на то, что у нас мало интеллигентных сил и будет трудно вести работу. Другая часть резко возражала им—я, тов. Марциновский, Хрынин и др. Мы говорили: в подполье работали почти без интеллигенции, хотя и трудно было, но справились, тем более сейчас, когда всетаки интеллигенция есть и члены партии прибывают.

Большинством предложение меньшевиков было отвергнуто. Тогда они стали оформлять свой комитет и организацию.

Последующие события показали, что мы были правы и что им с нами не по пути.

К. Плаксин, А. Марциновский.

„Маяк“ 1915—1916 г.г.

После пережитых казенных демонстраций в пользу войны с Германией (в которых рабочие участвовали больше потому, что демонстрации устраивались за полдня до окончания работ, а значит можно было улизнуть домой на полдня раньше)—настроение сменилось угрюмостью и разочарованием. Пользуясь тем, что рабочие металлических заводов, кое-как работающие по выделке снарядов, военной мобилизации не подлежали и прикрепились к мастерским,—администрация заводов забрала их в руки и делала все, что хотела: за малейшее неповиновение была угроза угодить на фронт. Сжимание властью администрации порой доходило до издевательства. Плохой заработок, утомительные вечерние и ночные работы, хамское обращение администрации и вечные угрозы фронтом породили в голове рабочего много критических размышлений и исканий какого нибудь выхода из тяжелого положения. Рабочие собирались у верстаков и паровозов и толковали о своем положении. Молодежь, как более активная и нетерпеливая, сейчас-же предлагала активное какое нибудь действие. Мысль о создании кружков, искание революционного подполья—была во многих молодых головах, но никто не знал, как и с чего начать. В конце 1914 г. к нам в ж. д. мастерския проникли слухи, что есть гдето в Саратове какое то общество (не то клуб) под названием „*Маяк*“, куда доступен ход и рабочим, но что это за общество или клуб, какую цель он преследует, мы путем не знали. Однако нам достаточно было того, что есть такое общество, куда пускают рабочих, а раз пускают, значит можно высказать свои наболевшие вопросы и спросить на них ответ.

Несколько человек, 7 или 8, сборно-паровозного цеха решили отправиться в этот-же день вечером, после работ, в неведомый, но страстно-желаемый „*Маяк*“.

Первое впечатление в стенах „*Маяка*“ было не полное и разочарованное. Узнав, что мы железнодорожники, нас встретили очень тепло, т. к. потом выяснилось—у политических партий почти не было связи с рабочими железнодорожниками. Тов. *Оппоков* (Ломов) „с места в карьер“ начал специально для нас читать лекцию. Лекция была „сухая“ и малопонятная. Добросовестно прослушав лекцию и почти ничего не поняв, мы разочарованные стали уходить домой с тем, чтоб никогда не возвращаться в „*Маяк*“. Состояние духа было пришибленное, тягостное. И вполне понятно:—шли многое узнать, что-то получить, а в результате ничего-непонятное 2-х часовое слушанье какого-то красивого „барина“.

При выходе из „*Маяка*“ нас задержал тов. *Милонов*, который с'умел в коротких и задушевных фразах так расположить к себе и заинтересовать нас, что мы простояли, одетые и вспотевшие, с тов. *Милоновым*—часа два. И идя домой в свой рабочий поселок, мы скорее почувствовали, чем поняли, что только в „*Маяке*“ можно получить ответы на мучительные вопросы. Да, *Милонов* умел подойти к рабо-

чим, его как-то сразу любили и доверяли ему, а впоследствии без *Милонова*—не разрешался ни один вопрос. Итак, благодаря умелому подходу к нам, мы остались в „*Маяке*" и тем самым стали звеном связи с тысячами рабочих железнодорожников. В начале 1915 г. „*Маяк*" был заполнен на 60% интеллигенцией и 40% рабочими. Состав интеллигенции в большинстве был: учащаяся молодежь высших учебных заведений, преимущественно студентов и курсисток Киевлян. Характерно, что Саратовских студентов вовсе в „*Маяке*" не было. Было так-же несколько адвокатов и еще кое какая либеральная публика. Из рабочих наблюдались несколько профессий, как то: металлисты, ж. д., портные и пекаря; других профессий в „*Маяке*" не было.

Несмотря на небольшое помещение „*Маяка*", там всегда чувствовался какой то уют в расположении комнат. Внутренняя жизнь „*Маяка*" очень интересна и поучительна, в особенности для теперешних клубов с ярким освещением, мягкой мебелью и мертвечиной. В „*Маяке*" было несколько комиссий: культурно-просветительная, (пение и музыка), хозяйственная, библиотечная, финансовая и экскурсная. Говорить подробно о работе каждой комиссии в отдельности не буду, ограничусь лишь беглым обзором некоторых существенных сторон. В общей сложности все комиссии, за исключением библиотечной и хозяйственной, работали несистематично и нерегулярно. Экскурсии устраивались всегда по инициативе кого нибудь из членов „*Маяка*", хор можно было слышать всегда, когда не было лекций, дирижером хора мог быть всякий, кто только имел желание махать руками и, несмотря на это, хор был хороший. Зато с большой серьезностью было поставлено библиотечное дело, выписывалось большое количество газет, журналов. В книжном шкафу можно было всегда найти хорошую книгу, вся монархическая и бульварная литература из библиотеки быстро изгонялась, если она туда попадала путем пожертвования либеральной буржуазии. Главным же пульсом жизни „*Маяка*" были популярные лекции по разнообразным вопросам с широким участием в прениях самой аудитории, а также товарищеские беседы за стаканом чая. Несмотря на то, что членов „*Маяка*" насчитывалось около 300 чел. (цифру пишу на память и за точность не ручаюсь). ежедневно „*Маяк*" посещало человек тридцать—сорок, спаянных между собой общностью интересов и товарищеской солидарностью, в дни же лекций раз или два в неделю „*Маяк*" был битком набит во всех комнатах. В расцвет подпольных организаций, „*Маяк*" был местом вербовки рабочих в революционные партии и учения социально-экономическ. идей. В то время в „*Маяке*" налицо было большинство социалистических партий, были: социалисты-революционеры, летучий отряд соц.-рев. военной северной боевой дружины, социал-демократы большевики меньшевики оборонцы, ликвидаторы, меньшевики интернационалисты. поалей цион, анархисты и т. д., часто поднимались горячие „принципиальные" споры между партиями, делались доклады о разных партиях и течениях, и попавшая в „*Маяк*" молодежь—рабочие и интеллигенты проходили хорошую школу теории и практики в борьбе с бывш. строем. Беспартийным в „*Маяке*" быть невозможно было: попавшего туда „обрабатывали" несколько партий сразу, и порой у молодого члена в голове получался такой сумбур, что почти всегда выливался в анархическую тенденцию—бомбу в руки и Саратовского губернатора убить. И только разобравшись путем раз'яснений и лекций, а чаще всего симпатией „накачивающего" скороспешный анархист примыкал к той или иной партии. Большинство рабочих шло в ряды с.-д. большевиков и эта партия в „*Маяке*" занимала первое место. Каждая морщинка политической жизни быстро доходила до „*Маяка*" и „*Маяк*"

всегда разбирал, обсуждал и реагировал так или иначе. Бежавшие с каторги, административно-ссыльные, дезертиры царской армии всегда в *„Маяке"* были желанными гостями, их устраивали по квартирам, снабжали деньгами и кто чем мог. У них учились борьбе с жандармами и ярой ненависти к погонам и блестящим пуговицам и господам с брюшками и в цилиндрах.

Безработному находили работу, голодного кормили, преследуемого прятали, темного просвещали. Дружба, спайка и братски-товарищеская солидарность была выше всего, брат и товарищ было одно и тоже.

Вдохновителями—руководителями жизни *„Маяка"* безошибочно можно назвать несколько товарищей, которые сделали очень многое если не все: т.т. больш. Владимир Павлович *Антонов*, Юрий *Милонов*, Георгий Ипполитович *Оппоков-Ломов*, Самуил *Рапопорт* [1]), Миша *Розенштейн* [2]), *Иоффе*, эс-эры: *Платонов* Иван Федорович [3]) и другие менее значительные личности.

Жизнь в *„Маяке"* кипела и била ключем, слухи о *„Маяке"* расходились на фабрики и заводы, а потому о нем знала царская охранка.

Охранка была более, чем в курсе дела. Ей удалось наводнить *„Маяк"* шпиками и даже во главе правления *„Маяка"* поставить матерого провокатора Ивана Федоровича *Платонова*. Во всех партиях стояли также провокаторы, и всю работу партии провоцировали очень успешно. К сожалению, об этом пришлось узнать только после свержения самодержавия в Февральскую революцию. Начальник ж.-д. охранки ротмистр Балабанов[4]) на допросе ж.-д рабочих, после Январьской забастовки, цинично заявил „Мы ведь знаем, что вы ходите в *„Маяк"* и забастовка дело рук *„Маяка"*, но да погодите"..... Каждый вечер можно было наблюдать около *„Маяка"* и на другой стороне минимум 4—5 „провожатых", которые выслеживали конспиративные квартиры. Охранка берегла *„Маяк"*, для нее закрытие *"Маяка"* было-б гибелью, ибо в *„Маяке"* было удобно и безопасно выслеживать и плести иудины сети. Охранка никогда не арестовывала по многу сразу, а брала аккуратно по несколько человек, дабы не разогнать нужного ей *„Маяка"* и только в конце апреля 1916 г. был устроен хороший погром *„Маяка"*, так как силы революции слишком били наружу и вот-вот могло случиться какое-нибудь выступление [5]), могущее принести охранке большие неприятности.

Итак, попавшие в *„Маяк"* обязательно делались революционерами, хорошо воспитанными теоретически и практически, охранка еще больше довершала воспитание, сажая в тюрьмы и высылая в Сибирь.

„Маяк" для Саратова сыграл большую роль: он дал много революционеров, которые до сих пор борятся в рядах коммунистической партии за лучшее будущее. Самыми активными деятелями в октябре 17-го года были маяковцы, и Саратовский октябрьский переворот исключительно обязан маяковцам, в дни керенщины маяковец был и на заводе, и в казарме, и на улице, а в октябре первыми на баррикадах.

---

1) Теперь беспартийный.
2 Растрелян белогвардейцами на Севере.
3) Оказался провокатором.
4) Растрелян как и Платонов в 20-м году.
5) К 1 мая готовилась большая демонстрация с лозунгом „долой войну".

„*Маяк*"—колыбель Саратовских Революционеров, много он выпустил птенцов из своего гнезда, которые потом превратились в стальных орлов. „*Маяк*" далеко светил своим красным огнем, и когда беглый политический каторжанин пробирался дикой тайгой, он видел впереди спасительный огонек „*Маяка*", шел на него и спасался от царских палачей и получал кров, временный отдых, ласку и тепло.

Теперь „*Маяк*" заброшенный,—где его архив, книги? неведомо, там поселился фабрикант и больно делается за гнездо орлов, когда видишь, как оттуда выглядывает вместо стального клюва—тупая свиная рожа фабриканта хищника.

Виктор Бабушкин (старый Маяковец).

Как я записался в партию.

В Саратов я попал в конце 16 го года. Остаток лета и осень всю работал в заволжских степях. Вернувшись же захворал и был болен очень серьезно, так что после лечения в январе 17-го уже года получил было отпуск и собирался ехать на Кавказ. Но уехать не удалось. Завязать партийных связей мне не удавалось. Старых товарищей я не встречал, новых никого не знал. Не знал даже где находится организация. Словом, у меня не было явки; после 4-х летнего моего перерыва, когда я находился в Петровке (Петровско-Разумовская теперь академия) я, кроме т.т. из Самарской организации, никого не знал. Да и с последними у меня не было определенной тогда связи, а виделся я только изредка с двумя из них. В самой же Петровке работал скорее как партизан, ибо находясь под негласным надзором полиции, открыто работать среди студенчества не хотел, хотя и выступал на отдельных собраниях под именем „злостного марксиста".

В начале 17-го года революция чувствовалась в воздухе, и даже местная пресса подняла свой приниженный тон. Помню знаменитый, своего рода, фельетон в Саратовском Вестнике, полное содержание у меня выпало из памяти, но я не ошибусь, если скажу, что в нем шла речь об ограбленной России. Фельетон заканчивался следующими знаменательными словами: слышен, де, топот, то приближается Иван Царевич (народ) и скоро придет спасение.

Давался намек на грядущую народную бурю. Вскоре буря разразилась, революция пришла, и из подполья должны были, конечно, выйти и С.-Д. организации.

В первых числах марта (старого стиля, 8-го приблизительно) действительно в газетах впервые появилось об'явление (первое легальное об'явление) с призывом вступить в ряды С. Д. рабочей партии. Местом, где принимались члены, было об'явлено здание просветительного общества „Маяк". Освободившись вечером от занятий, я отправился по указанному адресу, в этот же, или на другой день, не помню. Не без радостного подмывающего чувства шел я на этот первый легальный зов нашей партии. Признаюсь, казалось это даже несколько странным: подполье, и вдруг—наверх выползли.

Старенькое деревянное здание, глухая сравнительно улица, скудное освещение. Но что-то радостное и свое. Вхожу, сидят двое товарищей. Обращаюсь с вопросом: где записаться. Начинают щупать. Один курчавый, хромой рабочий (как потом узнал портной), другой более подвижный, но сосредоточенный. Начинаются расспросы, где работал, откуда, кого знаю.

После беседы с тов. Лосевым (хромой товарищ) выяснилось, что и он работал в Самаре. Нашлись общие знакомые. Он давал характеристики и спрашивал меня, какого мнения я о тех или других товарищах.

После перекрестного разговора с тем и другим товарищем, я получил вопрос от второго товарища мне казалось руководителя: как я смотрю на войну и на так называемую балканскую федерацию (вопрос шел о самоопределении наций). Мой ответ удовлетворил

обоих. Мы беседовали сравнительно долго, и разговор, видимо, нравился товарищу Лосеву, он как будто светился каким-то внутренним светом и был чему то рад. Больше его таким я после уже не видел.

Когда кончился мой „допрос", я спросил товарищей: могут ли они меня принять в организацию, и что для вступления необходимо? На что полутил ответ, что никаких формальностей не требуется, и что я, ввиду того, что достаточно осветил свое прошлое и дал удовлетворительный ответ на вопросы, могу считать себя принятым в организацию.

Необходимо заметить, что когда я шел на запись, я не знал на какую С. Д. организацию я наскачу. Я знал, что в Саратове был Топуридзе—С. Д. меньшевик, которого, как меньшевика, знавал еще с 1904 года и потому для меня далеко было не безразлично сначала знать, что это за С. Д. организация, которая зовет в свои ряды членов.

Поэтому и для меня необходимость выявить физиономию товарищей была крайне важна. И я был приятно удивлен, увидев в товарищах определенных большевиков, а потому и наш разговор принял непринужденный характер, и мы так скоро, если хотите, сговорились.

Я помню в свою очередь обратился с вопросом к второму товарищу, о его фамилии и получил ответ, что он—Козловский. Впоследствии мне сказал тов. Лосев, которого вторично я увидел на первомайской манифестации, что он уехал на Украйну, потом другие мне говорили, что будто-бы фамилия его не та. Была ли со стороны товарища предусмотрительная тогда конспирация или ошибаются товарищи, которые думают, что речь идет не о Козловском (которого будто-бы не было), а о тов. Зарницыне, судить не берусь, возможно, что ошибка тут моя, и я мог забыть настоящую фамилию сказавшего. Хотя и тов. Лосев тогда не назвал мне своей фамилии и о ней я узнал после, в процессе работы.

Вскоре, дня через два, я уехал в Уральск и обратно вернулся в Саратов в конце апреля, когда комитет помещался уже в здании теперешнего Губпродкома, где уже записался формально в Саратовскую организацию С. Д большевиков во время Секретарства тов. Петерсон.

Правда и на этот раз я вскоре уехал в Уральск, посетив, лишь „Маяк" только в день 1-го мая.

Я. Мирошхин.

28 февраля 1922 года.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ.

(Воспоминания о февральской революции).

I.

В конце 16 и начале 17 года общественная мысль в Саратове, как и во всей России, была придавлена военным каблуком. Невыносимо-тяжелый казарменный режим давил не только солдат, но отражался и на всей гражданской жизни. Помню случай, когда один зарвавшийся офицер, при выходе из трамвайного вагона, тяжело ранил гражданина, протестовавшего против грубого обращения офицеров с солдатами.

Рабочие организации были буквально замуравлены. Заводская администрация держала себя также по военному и на всякие требования рабочих грозила фронтом. Забитость и придавленность всюду. Заглянешь, бывало, на заседания больничной кассы, где обязательно присутствовали полицейский пристав и администрация завода,—сидят представители рабочих, как пленники, вяло разжевывая какую-нибудь инструкцию или циркуляр Министерства Внутр. Дел. Профессиональные союзы тоже влачили жалкое существование. Впереди других шел союз деревообделочников с своей больничной кассой „Дерево".

Но такое усердие рабочих организаций скоро заметило „начальство" и, кажется, в начале января 17 года оба секретаря этих организаций были высланы из г. Саратова. Однако, несмотря на весь гнет полицейского режима в воздухе пахло грозой. Чувствовалось, что нагнетающий полицейский насос не сегодня-завтра лопнет. Поэтому неудивительно было, когда на какой нибудь самый заурядный публичный доклад публика валом валила.

В конце января месяца обществом народных университетов была устроена в народном театре (теперь—„Карл Маркс") лекция на тему: „Крепостное право и его оппоненты". Билеты на эту лекцию раскупались рабочими нарасхват. На заводе „Сотрудник" в течение какого-нибудь часа я распродал 100 билетов. Лекция слушалась с огромным интересом.

Места доклада с критикой крепостного строя заглушались громом аплодисментов. Чувствовалось, что аудитория протестует не против отжившего крепостного строя,—а против существующего полицейского гнета. Еще с большим интересом и желанием ожидали доклад Саратовского депутата IV Госуд. Думы, Масленникова. Персоне Масленникова, конечно, никто из рабочих не симпатизировал (он являлся представителем саратовских домовладельцев), но страшно хотелось хоть что-нибудь услышать об умирающем самодержавии.

С февраля месяца я начал посещать вечерние курсы по кооперации, где всегда можно было видеться с К. Цедербаум, член Питерской организации Р. С. Д. Р. П. и с некоторыми партийными рабочими. С завода „Жесть" тут, напр., всегда бывали т.т. Степняк, Иоффе и др. Обычно после лекций заводили кто-нибудь частную беседу,

но через несколько минут, не заметно для самих себя, переходили к оценке текущих событий и мирная беседа превращалась в горячий, шумный спор.

В конце февраля из Питера стали привозить вести о волнениях среди рабочих. Эти сведения создавали напряженное ожидание скорых революционных событий. Ждать их долго не пришлось...

1 марта, незадолго до окончания работ на заводе „Сотрудник“, меня вызывают к проходной сторожевой калитке.

Выхожу и вижу знакомую курсистку. Отзывает меня в сторону и, озираясь кругом, вынимает из рукава газетный сверток. „Вот... прочтите и скорей передайте на завод „Жесть“.

— Да что вы дрожите,—спрашиваю ее?.

— Нет, я ничего... Телеграммы эти по распоряжению Губернатора все конфискованы.

Бегу с телеграммой в цех. Развернул сверток, провел глазами и кричу рабочим: „ребята, ура! царя сшибли, образовалось временное правительство“...

Меня облепили со всех сторон, каждый рвал телеграмму и собственными глазами старался прочитать все до последней строчки.

— Смотри, не ловушка-ли это,—замечает один из рабочих,—а то ведь нашего брата на этом самом вот и вылавливают. Я улыбнулся и побежал по другим цехам.

Работа везде остановилась. Известие это, как громом всех ошарашило.

За шумными разговорами столпившихся рабочих не слышно стало шума трансмиссий и грохота машин... Телеграмма пошла на зовод „Жесть“.

II.

Прихожу на квартиру—лежит записка: „Вечером сегодня устраивается совещание в Городской Думе. Приходите обязательно“. Бегу сломя голову по направлению к Думе. Не доходя до Немецкой вижу огромную толпу народа—валом валят к редакции „Саратовского Вестника“. Еле-еле пробираюсь к окну, где наклеена известная уже мне телеграмма об образовании Исполнительного Комитета Государ. Думы.

Сажусь в трамвай, который, прорезая толпу народа, двигается черепашьим шагом. Возбужденные обыватели каждому входящему пассажиру задают вопросы: „в чем дело?.. что за народ...?“.

— Царь в отставку ушел, а охотников занять его престол не находится—с иронией отвечает один из рабочих.

Я слезаю с вагона и бегу к Думе. Тут народу еще больше. Штатские, военные, полиция—все смешалось вместе.

Но, главным образом, поражало то, что не слышно было обычных окриков: осади, не лезь..!

Пробираюсь в Думу—таже разношерстная публика.

В зале заседаний „отцы города“, студенчество, представители рабочих организаций, солдаты, офицеры и проч.

Открывается заседание. Заместитель городского головы Яковлев сообщает о происшедших событиях и оглашает текст полученной телеграммы. Взрыв долго-несмолкаемых аплодисментов. Обсуждается текст посылки телеграммы Временному Правительству.

Выступает т. Васильев и от имени организованных рабочих города Саратова предлагает послать приветствие геройскому Петроградскому пролетариату и тем представителям геройской армии, которые стали на сторону Временного Правительства.

Предложение принимается громом аплодисментов.

Затем оглашается выработанный рабочими организациями текст телеграммы Временному Правительству.

Телеграмма принимается единогласно.

Разыгравшиеся в Петрограде революционные события на думцев наводили больше страху, чем радости.

Значительная часть думцев страшно боялась улицы—как бы эта улица не извратила понятий о происходящих событиях, не затоптала бы великого „общественного“ движения в грязь и не подготовила-бы разложения армии.

Но эти опасения были раз'веяны заявлением одного из присутствовавших офицеров, который сообщил, что сегодня происходило совещание представителей всех частей гарнизона, на котором присутствовало по одному солдату и одному офицеру от каждой части.—На этом совещании решено было послать телеграмму Временному Правительству с выражением сочувствия ему и полной поддержки.

После долгих и шумных прений было составлено и принято обращение к гражданам г. Саратова, которое призывало население к поддержанию спокойствия и порядка и всемерной помощи Временному Правительству.

Заседание закрывается, но клокочет чуть не до рассвета. На каждом шагу куча народу.

Горячо обсуждают события дня.

Ну, а как насчет армии, насчет гарнизона-то, ничего не слышно? Ведь в Саратове до 60 тысяч солдат!.. На чьей они стороне?—Задаются вопросы.

— Солдаты с нами, с революцией—отвечают из толпы.

— А как полиция?

— Ну, брат, если солдаты с нами, так полиция ничуть не страшна—всех сметем!—раздаются голоса.

Но тут же выясняется и другое обстоятельство.

1 марта в 5 час. вечера, до совещания Думы, последней было устроено заседание с присутствием губернатора Тверского.

В конце своей речи по вопросу о происходящих событиях губернатор, между прочим, заявил: „Я назначен высочайшей властью и пока мне не будет высочайшего приказа, я никакой другой власти не признаю“.

III.

С распухшей головой от наплыва новых мыслей и впечатлений возвращаюсь на квартиру.

До рассвета ведем беседу с рабочим зав. „Жесть“ тов. Волосатовым.

Утром, подходя к заводу, вижу на заборе две афиши—одна—Думское обращение, другая—приказ губернатора о недопущении собраний и проч. Срываю последний с забора, и иду во двор завода.

Работа весь день не клеилась, с нетерпением ждали конца.

В обед узнаю об организации Совета Рабочих Депутатов и распоряжение о создании Фабрично-Заводского Комитета.

Проводим собрание по цехам и комитет готов.

Вечером 2 марта в Думе опять совещание. Народу еще больше, но преобладают солдаты. Выясняется, что гарнизон весь за Временное Правительство.

У Думы происходят трогательные сцены.

Спрашивают проходящего офицера: „ну как армия?“.

— Армия с новым правительством—слышится ответ.

Солдат и офицеров начинают целовать, кричат „ура!“ ликованию и восторгам—нет конца.

На улице устраивают для солдат митинг. Выступает т. Васильев М. и призывает солдат об'единиться с рабочими, чтобы совместно сбросить с плеч трудящихся самодержавное иго.

Один из офицеров очень подробно развивал историю революционного движения в России и подчеркивал, что думские „отцы города“ не долго будут итти вместе с революцией и что только революционные солдаты и рабочие являются твердой надежной опорой революции.

— „Седые крысы боятся улицы, закончил он, но улица—это революция“ на этих словах оратор падает в обморок.

В Думе обсуждается вопрос об организации власти. В 1 ч. 45 м. ночи избирается Саратовский Общественный Исполнительный Комитет, куда от Совета Рабочих Депутатов входят: 1) Милютин, 2) Н. Мясоедов, 3) Скворцов, 4) М. Васильев и 5) Колесников

Сейчас-же после этого Исполнительный Комитет приступает к работе.—На 3 марта назначен праздник Революции.

Всю ночь происходят аресты полиции. Арестовывают полицеймейстера Дьяконова, а рано утром 3 марта—и самого губернатора.

3 марта город очищен от всей царской нечисти и при грандиознейшем стечении народа и армии празднует свободу.

П. Кульманов.



Февральская революция в Саратове.

Итак, прошло уже пять лет. Целых пять лет! Вдумываешься, припоминаешь, всматриваешься в прошлое, и кажется будто все это произошло вчера, чуть ли не сегодня—так свежи в памяти многие картины. Но уже пять лет! целая вечность.

Для Саратова это так было неожиданно. Невероятно для Саратова, как провинциального города, с сравнительно малочисленным пролетарским населением. Лишь партийно воспитанная часть пролетарского населения отдавала себе ясный отчет, что технически и экономически слабая страна, брошенная в мировую склоку, начинает уже испытывать напряжение последних сил, что дальше будет трудней и непосильней нести военные тяготы, возложенные на страну безразсудством и алчностью командовавших в то время классов. Петербургский пролетариат, как более организованный и более сознательный отдавал себе более ясный отчет, глубже понимал сущность создавшегося положения, ясно видел выход:—вооруженной рукой сбросить с себя гнет тирании. В свою очередь буржуазия также понимала сущность этого положения. А потому надо было винить в создавшейся тяжести только царское самодержавие. Взять в свои руки государственный аппарат, использовать народную радость по случаю свержения самодержавия для продолжения „войны до конца". Путем вспрыскивания „морфия свободы", пробудить в нем „патриотизм", энтузиазм самопожертвования во имя „свободной родины". Таким путем, хотя бы на время улучшить народное самочувствие и продолжать участие в мировой бойне во имя интересов капитала.

Тут сказалась классовая дипломатия буржуазии:—использовать момент в интересах класса! Использовать наросшее законное недовольство масс трудящихся против царского самодержавия, а также и назревавшее недовольство тяжестями войны, навязанной командующими классами, свалить все это в одну кучу и—война до конца!

Так оно и было. В телеграфных сообщениях, рассылавшихся комитетом государственной думы, ни слова о пролитой крови петербургского пролетариата, ни слова о воинских частях петербургского гарнизона, вместе с рабочими сражавшимися против царской полиции.

Все произошло по мановению ока вдруг ставшей „всемогущей" госуд. думы, до того времени холопски лизавшей пятки самодержавия. Вот почему буржуазия на местах так „рада была" свержению самодержавия. Иного выхода не было. Надо было „радоваться", чтобы использовать неподдельную искреннюю радость трудящихся, использовать в интересах своего класса.

Если в этом стремлении буржуазии в целом было, конечно, очень мало сознательности, то, во всяком случае, было много классового инстинкта, на котором наигрывали и которым управляли соответствующие буржуазные партии, дававшие лозунги. А ими были отравлены мозги не только крупной буржуазии, но и мелкой, а через прислужников ея соглашателей и социал-предателей даже и части пролетарской группы. Вот почему, так трудно было положение Саратовской

организации большевиков, когда известия о событиях в Петербурге дошли до Саратова. Взрыв стихийного восторга был так могуч. Аппарат старого буржуазного господства остался целым. В войсках старое офицерство на своих местах. Вот почему первое выступление тов. Васильева 2 марта на об'единенном заседании гор. думы было встречено так недружелюбно. Потому, что он впервые заговорил об истинном творце революции—пролетариате, обагрившем своею кровью улицы Петербурга. Такой подход к оценке событий шел вразрез с информацией Родзянко и симпатиями и стремлениями собравшихся, уже боявшимися, чтоб „улица“ не испортила их радости.

Эта боязнь так сквозила в речах заместителя гор. головы А. Яковлева и старейшего гласного думы Б. А. Арапова, вышедших приветствовать к думе воинские части, что тов. Васильев, также обратившийся с речью к солдатам, очень удачно и ядовито охарактеризовал их, как „встревоженных старых крыс с тонущего корабля“.

Но смысл этого сравнения, его соль, так и осталась тогда непонятной для подавляющего большинства собравшихся к думе, огромной массы народа.

Я уже сказал, что известие о падении самодержавия явилось для Саратова таким неожиданным. Правда, полученное числа 26—27 февраля известие о роспуске государств. думы, проработавшей после перерыва всего лишь 11 дней, а также отсутствие из Петербурга всяких сообщений политического характера, толкали на предположения всякого рода. Местные газеты продолжали жевать по поводу взятия англичанами города Багдада, о беседе Риттиха с крестьянами и пр.

Но вот, в ночь с 28 февраля на 1 марта, в редакцию является полиция и весьма пытливо просматривает печатаемый в очередном номере материал. Особенно заботится о телеграммах.

Среда 1 марта (14 марта).

Обыкновенное зимнее ясное утро. На Немецкой ул. встречаюсь с знакомым железнодорожником.

— Слыхали?—спрашивает. В Питере то что делается?

Захожу в редакцию, оттуда в управление Р. У. ж. д. В особом совещании по охране пути идет заседание. Обсуждается вопрос, подчиняться ли распоряжениям нового министра путей—Бубликова. Телеграмма начинается: „по поручению Госуд. Думы я сего числа занял министерство путей сообщения.... об'являю приказ председателя Госуд. Думы, взявшей власть в свои руки и т. д.“

Неспокойно на душе и у губернатора С. Д. Тверского. В ночь на 4 марта он получил шифрованную телеграмму о петербургских событиях. К 11 ч. утра спешно созвал совещание с надлежащими людьми. Приглашены: вице-губернатор Римский-Корсаков, губернский предводитель дворянства Ознобишин, зам. председателя губ. земской управы Гольберг, уездной—Григорьев, зам. городского головы А. А. Яковлев, начальник управления земледелия и госуд. имуществ М. Гуржиа.

Под строгим секретом губернатор сообщил им содержание шифрованной телеграммы о падении самодержавия в Петербурге, о том, что войска будто бы держатся в стороне от движения, что надо осторожно выждать и принять меры, чтобы в Саратове также не вспыхнуло движение и не вылилось бы в уличные выступления.

Надо во что бы то ни стало удержать население дома и выжидать, т. к. движение в центре, не поддержанное в провинции, легче будет подавлено.

Но уже было поздно. Днем часов в 12 с телеграфа редакциями были получены телеграммы об образовании временного правитель-

ства, о том, что 27 февраля, ровно в полночь, организовался Исполн. Комитет Госуд. Думы, что совет Старейшин, узнав 26 февраля о роспуске думы, постановил не расходиться и пр. Сообщалось об арестах царских министров. В воззвании к населению впервые наряду с подписью Исполнит. Комитета Госуд. Думы проводится подпись: „и Совет Рабочих Депутатов."...

Наконец, знаменитая телеграмма Родзянко к царю:... „на улицах стреляют друг в друга войска... Молю Бога, чтобы эта ответственность (за не созыв пользующегося доверием думы правительства) не пала на венценосца".

Телеграммы печатаются с быстротой молнии. Известие облетает город. Часть телеграмм кажется конфискуется и уносится полицией. На улицах растут толпы народа. В 5 ч. дня в Гор. Управе экстренное частное совещание гласных. В виду широкой огласки событий пришлось созвать более широкий круг лиц для совещания. На совещание явился губернатор и произнес речь, в которой говорилось о любви к родине, о мерах против того, чтоб ликование не было вынесено на улицу, что в этом деле ему, главноначальствующему должны помочь гласные думы.

„Что же касается меня", сказал губернатор, „то я не оставлю своего поста до тех пор, пока государь император не издаст приказ об отставке и не признает нового правительства. Ура за армию и ее вождя!".

Гласные прокричали „ура". Губернатор, держа дворянскую фуражку под мышкой, быстро, торопливо удалился, видимо избегая разговоров с гласными.

Растерянные, недоумевающие, они из залы направляются в кабинет гор. головы. „Как быть? что делать?"—Заместитель гор. головы Яковлев осторожно пытается навести мысли гласных на путь деректив, данных губернатором.

„— губернатор ждет манифестаций"...

Но успеха нет. Гласный Арапов предлагает послать приветствие Родзянко, а гл. Исупов—образовать комитет вроде комитета обществ. безопастности. Кадет Красников против всяких комитетов. Нет в них надобности, „не ликовать, а работать надо".

Решено: созвать на 9 ч. вечера Гор. Думу, пригласив и общественные организации. Для того чтобы дать ясное представление, что это за общественные организации, и, следовательно, чтобы дать понятие о действовавших тогда общественных „силах", привожу список приглашенных на это об'единенное заседание: биржевой комитет, военно-промышленный комитет, управляющий железной дорогой, земская управа, окружной суд, общество купцов и мещан, потребительское общество, университет, военное ведомство. Всего 12 организаций, задававших тон тогдашней жизни, руководивших ею. Но к моменту открытия думы рабочие массы Саратова успели выдвинуть и своих представителей т.т. Васильева, Милютина и Степанова.

Заседание открылось зам. гор. головы А. А. Яковлевым при переполненном зале. Центральным местом—вопрос о том, избрать или не избрать комитет? Каковы должны быть его полномочия? Характерно, что кадеты в лице гл. Красникова, Никонова и др., вообще были против комитета, или же согласились на чисто информационные функции его.

Никонов договорился до того, что предлагал оставить на месте старую полицию, которая, по его мнению, и теперь будет послушным органом.

Фимиам, воскурявшийся Госуд. Думе, а также туманные речи кадетских ораторов, пытались рассеять представители рабочих, но эти попытки уже тогда встречались холодно, если не сказать враждебно. Так, достаточно было тов. Васильеву заявить, что он хочет об'яснить, как рабочие смотрят на происходящие события, со своей рабочей точки зрения, как по залу пробежал гул недовольства, протеста, единичные выкрики; тов. Васильев говорит—Временное правительство должно опереться на рабочий класс, на улицу, о которой так пренебрежительно отозвался здесь губернатор. Мы знаем, что старый строй свален улицей, что она одна и может направить его деятельность на правильный путь, что Чхеидзе и Керенский всплыли также благодаря улице.

Никонов смеется.—Неправда, блок Госуд. Думы давно просил их к себе. Неотталкивайте от себя умеренные классы общества. Помните 1905 год.

Тов. Милютин пытается доказать, что самодержавие пало благодаря забастовкам и вооруженному восстанию в Петербурге, настаивает на требовании немедленной амнистии и создании участковых попечительств, которым и передать управление общественной жизнью и осведомление населения о событиях. „Временное правительство есть временное, а надо чтоб оно стало постоянным".

Характерная подробность. Начинает говорить рабочий т. Степанов, от портных. В этот момент председаталь земской управы, М. Гольберг, встает и демонстративно уходит, бросая на ходу:—я не могу оставаться здесь. Ухожу. Это митинг. И на эту демонстрацию ни одного протеста. Лишь кадет Красников добавляет:—Да, это не входило в нашу задачу при созыве этого совещания.

При обсуждении приветствия новому правительству и армии тов. Васильев предлагает приветствовать и петербургских рабочих, хотя в Питере дело решалось народом, улицей, а не воззваниями. Наконец редактирование воззвания и к населению поручено трем: Н. Н. Мясоедову, Н. И. Семенову и М. И. Васильеву. Окончательная редакция выслушивается собранием с напряженным вниманием, среди необыкновенной тишины. Обращение к гражданам Саратова начиналось словами: „Вам известно, что старое правительство вынуждено было сложить свои полномочия, власть перешла в руки Исп. Комитета Госуд. Думы под председательством Родзянко..." и т. д.

Выборы комитета отложены на след. день до 8 час. вечера 2 марта. Заседание закрылось овациями, собравшиеся расходились в восторженном состоянии.

Был уже поздний час ночи. На улицах было пусто, лишь громкие возбужденные голоса расходящихся из думы будили ночную тишину. Так прошел первый день революции в Саратове. Все казалось фантастическим сновидением. Ужели сбывается так мучительно долго жданное. Ужели ненавистный двуглавый орел дождался возмездия, сражен, сгинул безвозвратно? И выпустит из своих когтей томящихся в царских тюрьмах.

Четверг 2 (15) марта.

С утра улицы города запружены толпами народа, оживление необычайное. На фабриках, заводах, предприятиях—среди рабочих возбуждение. Готовность активно поддерживать петербургских рабочих. Задаются тревожные вопросы:

— А как солдаты? На чьей стороне? Будут ли стрелять?

— Солдаты что, вот полиция окаянная. В Питере, говорят она отличилась

— Нет, солдаты должны быть с нами. После 905 г. все поумнели. Лозунг о создании Совета Раб. Депутатов всюду встречал сочувствие. К вечеру, на заседание Совета в гор. управе явилось уже около 88 избранных депутатов.

Оживленное настроение в городе в течение всего дня поддерживалось поступавшими сообщениями из Питера и Москвы. Телеграммы, выпускавшиеся местными газетами, брались буквально с бою. На Немецкой, против редакций, все время стояла толпа народу сплошной стеной. Однако, с утра выпуск телеграмм тормозился дежурящей в редакциях полицией. Часов около 12 или немного позже, полиция удалилась, унеся с собой часть телеграмм. За этот день были получены сведения о составе Исп. Комитета Госуд. Думы, опубликован список временного правительства во главе с кн. Г. Е. Львовым, министром юстиции Керенским, путей сообщения Некрасовым, торговли Коноваловым и т. д. Сообщалось содержание речей Родзянко, напр. речь к юнкерам Михайловского артиллерийского училища, подробности о том, как явился в Госуд. Думу тот или иной из князей с выражением признания ее власти и т. п. О деятельности Петербургского Совета Рабочих Депутатов ни звука, о подробностях вооруженного восстания ни полслова. Получалось впечатление, что все произошло само собой, как по волшебному знаку г. Родзянко.

Таким образом создавалась иллюзия революции в белых перчатках, манжетах и изящном галстуке, причесанной, прилизанной.

И естественно, создавалась беспечность, беззаботность в отношении безопасности со стороны врагов революции. Всякое напоминание о возможных опасностях встречалось враждебно, иногда с наивным недоумением.

— К чему создание боевых органов? К чему организация рабочих? К чему аресты чиновников, полиции? Они также будут служить и новому правительству, как служили царскому. За такими речами, конечно, много скрывалось обывательской наивности, но было много и сознательной маскировавшейся контр-революционности.

— Зачем перетряхивать старые органы власти, когда еще они, быть может, понадобятся?..

На такого рода размышления наводили факты, как напр. совещания у губернатора, расклейка ночью по городу об'явления за подписью главноначальствующего, как себя именовал тогда губернатор, облеченный чрезвычайной властью. В об'явлении говорилось: „Уличные сборища и манифестации мною не разрешаются и не будут допущены“. Подпись „главноначальствующий Тверской“.

Интересен еще один факт. Впоследствии было много разговоров, споров о так называемом „двоевластии“ в Питере и, конечно, о возможности этого двоевластия в Саратове. Уже по тем скудным сведениям, доходящим в Саратов о существовании в Питере Совета Рабочих Депутатов, местные зубры сразу учуяли в чем опасность. Сведения же эти, оффициальные, говорили только о том, что такое то воззвание, отнюдь не распоряжение, подписано: „Исполнит. Комитет. Госуд. Думы и Совет. Рабочих Депутатов“. Этого было достаточно, чтобы классовые враги раскусили в чем тут дело. И вот, совещание при губернской земской управе, от которого была послана приветственная телеграмма Родзянко за подписью председателя Управы Гольберга. Это совещание ставит вопрос определенно: оно „за одну власть Комитета Госуд. Думы“ и просит не допускать двоевластия, разумея под последним существование Совета Рабочих Депутатов и забывая, что власть Госуд. Думы оказалась возможной после того, как рабочие и солдаты под руководством своего Совета, своей кровью на улицах Петербурга завоевали возможность этой власти.

Характерно об'явление „организационного военного комитета офицеров и солдат Саратовского гарнизона". В нем говорилось ... „новое народное правительство имеет поддержку великого князя Николая Николаевича, начальника штаба ген. Алексеева, принца Ольденбургского, великого князя Кирилла Владимировича и др.". Это буквально точная выписка из об'явления. В нем далее говорилось о том, что 3 марта, в 2 часа дня на Московской площади состоится собрание всего гарнизона для выборов представителей в городской исполнительный комитет. Днем группа офицеров была в городской управе, вела переговоры с зам. гор. головы Яковлевым.

Наконец подошел вечер. На улицах прежнее оживление. Людно. Шумно, праздничное настроение. Часов около 7—8 вечера у гор. думы скопление народа необычайное. Внутри здания открываются заседания: в верхнем зале об'единенное собрание думы с упомянутыми уже общественными организациями.

Внизу в тесной пыльной зале, заставленной поломанными шкафами и старыми царскими портретами, заседает Совет Рабочих Депутатов. Заседания идут одновременно. Обсуждение вопросов прерывается чтением свежих телеграмм. Овации. Шумные выражения восторга. Корридоры полны успевшей пробраться в здание посторонней публикой. Беспрерывное движение из нижнего зала в верхнее и обратно. Совет Рабоч. Депутатов постановил немедленно всюду образовать фабрично-заводские комитеты, в том числе и на желдороге, об'явить 3 марта однодневную забастовку и пригласить рабочих к 9 часам на Московскую площадь для участия в параде войск. Избран первый Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов. В него вошли т.т. Скворцов с завода Беринга, К. Плаксин с „Жести", Ткачев с „Сотрудника", В. Милютин—интеллигент, М. И. Васильев—интеллигент, Колесников—наборщик „Саратовского Вестника", Галактионов—табачная фабрика Левковича, Садаев—от мукомольных рабочих. Пять мест предоставлено представителям партий.

В гор. Думе заседание прошло бурно. Шли бесконечные разговоры о том, избирать ли комитет, или не избирать. Если избирать, то с какими полномочиями, кто доверит эти полномочия и пр.

С необычайным восторгом встречены были представители местного гарнизона, явившиеся на заседание. Каждое слово их встречалось овациями. До этого отношение к событиям местного гарнизона не было точно известно и естественно вызывало у многих тревогу.

К Думе подошли два баталиона и третий пулеметный полк, взявший инициативу в свои руки. Заявление об этом его представителя т. Владимира Соколова, в то время, кажется, поручика, вызвало взрыв восторга. Дума поручила зам. гор. головы Яковлеву и старейшему гласному Б. А. Арапову приветствовать на улице подошедшие войска. Было уже темно. В ответ на приветствие выступали с речами солдаты и офицеры. Здесь же произнес свою речь и тов. Васильев, доказывавший необходимость единения солдат с рабочими для защиты революции и призывавший не верить уговорам „старых крыс с тонущего корабля"—представителям классовой гор. Думы, почуявшей в момент гибели корабля самодержавия опасность и для себя, подобно крысам, мечущимся в беспокойстве перед революцией. Около 12 часов ночи Дума избирает свой исполнительный комитет. В него входят: от гор. управы по должности—гор. голова Волков, гласные Б. Х. Медведев, Ю. Крупянский, Романов, Красников, Скачков, от обществ. организаций А. Токарский, Н. Семенов, А. Никонов (все присяжные поверенные), Андреев от земских служащих, Овчинников от

кооперации, от рабочих В. П. Милютин, И. Н. Мясоедов, Скворцов, Колесников.

В первом часу ночи открылось первое заседание думского, или как он назывался обществ. исполнит. комитета.

Споры о том, арестовывать ли губернатора, полицию и других властей затянулись до 4—5 ч. утра. А между тем тов. В. Соколов со своими пулеметчиками и целой группой солдат и офицеров в 11 ч. вечера в том самом здании, где заседала Дума, арестовал пристава 3 участка, через полчаса полицеймейстера Дьяконова. Арестованные обезоружены, рассажены по разным комнатам и у дверей поставлены часовые. Кажется, в таком же порядке произведены были аресты и губернатора и других. Общ. исп. ком. все еще обсуждает вопрос, арестовывать ли и кого, а соседние комнаты уже заполняются арестованными.

Часам к 5 утра в городскую управу, кроме губернатора Тверского, вице-губернатора Римского-Корсакова, доставлены пом. полицеймейстера Нейман, нач. жандармского управления Р.-У. ж. д. Балабанов и много полицейских. Всего до 300 чел. Многие полицейские сдавались сами. Воинской облавой было захвачено много ночных караульщиков, которые в то же утро освобождались. К утру гор. управа превратилась в Бастилию для чиновников самодержавия. Всюду часовые. Требуются пропуска. По корридору проводят арестованных, В кабинете гор. головы—высшее „бывшее“ начальство.

Кроме того в эти дни в управе же помещались: обществ. исполнит. комитет, исполнит. комит. совета рабочих депутатов, военный комитет.

Оживление царило необычайное.

Между прочим, стихийные аресты полиции производились и с утра 2-го марта, прямо на улицах. Арестованные доставлялись в гор. управу, но там их освобождали.

Пятница 3 (16 марта).

Настроение и возможное поведение гарнизона занимало всех Совет Рабочих Депутатов принял предложение об однодневной забастовке на 3 марта, для того, чтобы дать возможность всем рабочим принять участие в параде войск на Московской пл. Таким образом в этот день должна была произойти первая массовая встреча рабочих и солдат, которая определила бы позиции гарнизона в целом и закрепила бы в торжественной обстановке связь рабочих масс с солдатами. Цель эта, несмотря на спешность и недостаточность подготовки, была достигнута. Ранее условленных двух часов вся площадь запружена была народом. С красными знаменами шли рабочие, воинские части, обыкновенные граждане.

День был пасмурный, стояла оттепель. С утра в город. управе, ставшей штабом всех революц. организаций, царило необычайное оживление. Шла подготовка к собранию на Московской пл. По разным комитетам шли беспрерывные заседания, совещания. Много хлопот доставляли арестованные. Группы арестованных полицейских и чиновников продолжали поступать все утро. Наконец, город. управа стала пустеть. Все устремились на Московскую площадь. Оставшиеся с нетерпением ждали известий оттуда. Между тем, площадь все заполнялась и заполнялась народом, двигавшемся со всех сторон города к одному центру—на площадь. В разных местах развевались красные знамена. Некоторые воинские части двигались с оркестрами музыки и тоже с красными знаменами. Наконец, начался митинг. Говорили в разных местах. Выступления встречались восторженно.

Пришла весть.—Из тюрьмы освобождают арестованных. Многие устремились туда. Как потом выяснилось, судебные и тюремные власти отказывались освобождать заключенных по политическим делам, ссылаясь на отсутствие „законных" распоряжений. Дело это было поручено Исп. Комитетом прис. пов. Н. Н. Мясоедову. Однако 3 марта было получено распоряжение министра юстиции Керенского об освобождении заключенных и власти подчинились. Освобождено было около 60 человек. Все они направились в ближайшую студенческую столовую, кажется на углу Михайловской и Пугачевской, где им давался обед и оказывалась другая помощь сформированным Красным Крестом.

Появление заключенных из тюремных ворот встречено овациями собравшихся у тюрьмы.

Парад окончился часа в 4. Воинские части и организованные группы рабочих, с музыкой и красными знаменами, направились по главным улицам—Немецкой, Московской.

Глубокое впечатление произвело исполнение оркестром духовой музыки „Марсельезы", „похоронного марша". Манифестации с красными знаменами продолжались до позднего вечера. Отовсюду доносилось пение революц. песен, крики „ура".

Вечером состоялось заседание Совета Р. Д. Итоги дня были признаны вполне удовлетворительными. Об'единение рабочих с солдатами вполне удалось. Позиция гарнизона определилась. Опасения осложнений с этой стороны—рассеялись.

Таким образом, центром Саратовских событий этого дня явился митинг на Московской площади. Наиболее важным сообщением из революционных центров было известие об отречении Романовых. У редакций газет скопление народа было чрезвычайным. Телеграммы читались с неслыханной жадностью. Перечитывались вслух:

— „Мы Николай вторый! ..

— „И последний"—добавляет громкий возглас из толпы. Это замечание вызывает восторженные крики: „Долой самодержавие!".—Почли мы долгом облегчить народу единение и в согласии с Гос. Думой признали мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть!... продолжает чтец.

Ответом на эти слова—новая буря восторга.

Далее говорится о назначении наследником вел. князя Михаила Александровича. Но в следующем сообщении говорится, что и он отрекается от предоставляемого ему свободой престола: „до Учредительного Собрания!".

В последующие дни жизнь стала принимать обычный характер.

Налаживалась работа революционных органов Совета Р. Д., Обществ. Исп. Комитета, военного комитета. Кажется в субботу 4 (17) марта днем происходило бурное заседание военного комитета в думском зале по вопросу о взаимоотношениях с начальником гарнизона.

5 марта в состав Общ. Исп. Комитета от военного комитета вошли представители: Арбенин, Зеленкин и еще кто-то. В состав же самого военного комитета входили в то время: председатель Понтрягин, секретарь Мегарицкий, члены—капитан Станкевич, врач Н. И. Максимович, Диденко, Куликов. Эсеры преимущественно.

5 или 6 марта появился первый номер „Известий" Совета Рабочих Депутатов, первым редактором которых был, кажется, т. Милютин.

6 марта опубликована декларация Временного Правительства. По поводу этой декларации намечаются решительные расхождения между большевистскими и оборонческими группировками. На воскре-

сенье 5 (18) марта Советом Р. Д. назначены были митинги в театрах—дневные и вечерние, на которых делалась информация и об'яснялись азбучные политические понятия.

Митинги проходили при переполненных помещениях. Организация рабочих клубов была поручена Исполн. Комитетом С. Р. Д. тов. П. А. Лебедеву.

9 (22) марта в городском театре состоялось торжественное чествование освобожденных политических заключенных. Театр был переполнен. На сцене разместилась группа бывших полит. заключенных, исполн. комитет С. Р. Д., военный комитет.

Числа 5 возвратился из ссылки П. А. Лебедев, в 20-х числах В. П. Антонов.

Около 12—15 марта окончательно сформировался легальный комитет РСДРП (большевиков). В президиум были избраны т. Милютин, Васильев и Зарницын (незадолго освобожденный из тюрьмы).

Об'явления об открытой организации в Саратове РСДРП (большевиков) было опубликовано около 10 (23) марта. Запись первоначально производилась в „Маяке" на Царицынской ул., где велась партийная работа и при самодержавии под флагом культурно-просветительного о-ва. Между прочим, в правлении этого о-ва работал Платонов, который после переворота был изобличен в провокаторской работе за все время своего соприкосновения с „Маяком", Платонов скрылся и, кажется, был арестован в Москве. День 15 (28) марта посвящен был памяти жертв революции—день похорон жертв революции в Петербурге.

25 марта (7 апреля) в субботу днем в зале гор. думы состоялось первое открытое общегородское собрание Саратовской организации РСДРП (большевиков) под председательством т. П. А. Лебедева и С. Мицкевича. О работе комитета доклад сделал Финикштейн, по организационному вопросу т. В. П. Антонов. Вопрос об отношении к войне был отложен для дополнительного обсуждения. Это первое открытое собрание нашей партийной организации носило задушевный характер. Чувствовалась близкая искренняя товарищеская связь между всеми присутствовавшими товарищами. Связь, закрепленная и испытанная многими годами тяжелого существования в подполье. Так приятно и радостно было сознавать и чувствовать, что вот, наконец, сбылась заветная мечта, казавшаяся иногда столь недосягаемой, далекой, в мрачные дни подполья—в дни беспросветной тьмы, преследований, мучений физических и душевных. В зале чудились тени погибших товарищей, окровавленные жертвы царского самодержавия, замученные в тюрьмах, в ссылке, на баррикадах, сердце сжималось в тоске и жалости. Знакомые, дорогие тени длинной вереницей проходили в разбуженной памяти... Но оставшиеся в живых, где вы, что с вами? Дожили ли вы до такого счастья, как нынешний день. Или не выдержали, не вынесли тяжелых испытаний, где вы, что с вами? Горит-ли в вашей груди всеочищающее пламя Революции?

Тов. Лебедев спокойно подводит итоги работы партии за года ее существования. Собравшиеся в зале товарищи по партии, затаив дыхание, слушают спокойную речь старого товарища. За ним Мицкевич, Финикштейн, Антонов... Веселый, радостный с кипой номеров „Социал-Демократа", приятно пахнущих свежей типографской краской, появляется т. Мгеладзе.

Вопрос об отношении к войне.

Сладостно-мучительное воспоминание прошлого, во власти которых находились собравшиеся, потухли, исчезли, спрятались в глубоких тайниках. Звучат бодрые призывы к продолжению борьбы. Крылатая

мысль ищет выхода, анализирует, критикует, строит и разрушает системы, выискивает правильный путь, учитывает соотношения сил, возможные перспективы. Да, война не наша! Пролетариат в ней не повинен, не он начал ее. Но он истекает кровью. Во имя кого? Во имя чьих интересов? Знакомые слова, знакомые темы. Но теперь их можно произносить свободно, открыто, не прячась, не озираясь.

Но... „довлеет дневи злоба его"... Собрание закрыто. В частных разговорах обсуждается вырисовывающаяся опасность расхождения путей Совета Р. Д. и военного комитета, или уже военной секции— точно не помню. Гарнизон обрабатывается эсерами, оборонцами— керенцами.

В Совете Р. Д. социал соглашатели, меньшевики. Культивируется, превозносится личность удальца Керенского. „Гром победы раздавайся, веселися грозный Росс"—жужжат эсеры. Им подвывают меньшевики. „Избави Россию от ига немцев. Бей германцев, бей австрийцев". Становится душно. Воздух наполняется отравляющими социал-демократическими газами. Все ясней и отчетливей обрисовывается раздвигающаяся пропасть между большевиками и социал-предателями.

Особенно обнаружилось это во второй половине марта на очередной конференции гарнизонов поволжья и с'езде исполнительных комитетов.

Ф. Морозов.



Из февральских воспоминаний.

Многие солдаты старой армии, прошедшие во время войны через запасные части Казанского военного округа, знают, или на себе испытали, режим звероподобного генерала Сандецкого.

Трудно представить себе человека, который мог бы издеваться над людьми с большим увлечением и сладострастием, чем этот грубейший солдафон. Его жизнь богата подлостью и курьезами. Во время командования одним из сибирских военных округов, он лично зарубил двух солдат. Во время пребывания в Казани не только солдаты, но молодежь—офицеры трепетали перед этим именем. Одно появление его автомобиля приводило в ужас осмелившихся вылезть на улицу и они бросались в первую попавшуюся калитку.

Карательные приказы сыпались без конца. Военно-полевые суды справляли свои именины. Кровожадный, недоверчивый, он сначала лично утверждал приговоры, но потом их стало так много, что он, несомненно физически не мог один исполнять любимого дела. Утверждение местных приговоров было поручено начальникам гарнизонов.

Расстреливали за простую неотдачу чести. Имея близкое отношение к канцелярии начальника Саратовского гарнизона, мы одну ночь не спали до утра, ожидая минуты расстрела одного солдата, несколько раз раненого и имевшего несколько крестов.

Вина его заключалась в том, что он ушел из казармы без записки и поздно вечером, вывернувшись из-за угла, наткнулся на своего командира баталиона подполковника Лукашевича, мерзавца, достойного своего военноначальствующего патрона. В испуге он не отдал честь и бросился бежать. Вот и все... За это его судили и уничтожили... Я видел начальника гарнизона, утирая слезу, подписывавшего приговор на смерть: настолько они были суровы. А не подписать нельзя.

А Сандецкий в исступлении шел дальше. Он не был даже отцом. Приехавшего с фронта сына, уже не молодого, и вошедшего прямо к нему в кабинет, не явившись куда следует по начальству, он отправил непосредственно на гауптвахту на тридцать суток, на весь срок его отпуска.

Под командой такого начальника должны были услышать и увидеть революцию солдаты.

С начала февраля 1917 года нажим начал усиливаться. Всякие отлучки за черту расположения части воспрещены, расставлены усиленные караулы. И без того невыносимая казарма превратилась в самую настоящую тюрьму, в отбывание каторжного наказания. Являлась мысль, что где то, что то неладно. Но долготерпению наступил конец. Чувствовалась и горькая жалоба на судьбину, а временем и ярая злоба и ненависть. Горючий материал высокого качества был в наличии. Нужна была искра. И она появилась. 28 февраля писарский ученик управления начальника Саратовской местной бригады тов. Рыбак ушел в город по поддельной увольнительной записке. Разбрелись потихоньку все (жили мы в очень привиллегированных

условиях). Приготовился уходить к учителю еще один тов. Т. Иванов, грубый, решительный и с большим задором парень. Я немного подогревал его, играя на его самолюбии, указывал, что он ничто, что он пешка, обязанная подчиняться. Разговор принял вид горячей политической дискуссии. Сколько мы спорили, не помню, но вдруг вбегает Рыбак необычный, с хохлацкой ленцой и переналкой, а взвинченный. „Ребята, посмотрите, или обман, а может быть и правда", он показывает смятую бумажку, продолжая рассказывать, как она к нему попала. Получил он ее так. Проходя мимо городской управы он увидел выходящих из нее группу разгоряченных лиц. Один из них в технической форме быстро отделяется от остальных и направляется за ним. Предлагает ему итти и не обращать на него внимания и в это же время говорит: „В Питере революция. Знаешь об этом"? Парню стало жарко, ноги затряслись. „Нет, ничего не знаю, отвечает Рыбак, неоткуда". Техник сунул ему в карман бумажку и направился в другую сторону. Посмотрев бумажку, тов. Рыбак бегом возвратился в бригаду, забыв о том, куда он шел. Мы набросились рассматривать телеграмму. В телеграмме сообщалось о происшедшем перевороте и запрашивалось мнение городского головы. У большинства блестят глаза. Состояние лихорадочное. Некоторых заметно трясет. Идут горячие обсуждения. Действительность это или сон? Правда или провокация? В заключение решаем итти на разведку. Иванов к студентам, я в рабочий район. Возвращаемся только со слухами.

У нас была школа. Вечером собрались ребята не полностью. Я что то стал об'яснять. Вдруг часов в 9—10 вечера вваливается к нам в столовую, где мы занимались, толпа, в руках у нее телеграмма об образовании временного революционного комитета. Крикнули: „кончай! на улицу!". Всю ночь никого не было дома.

В думе были розданы листовки. Солдат кроме нас почти никого. В военный городок отправилась какая то молодежь. Мы пошли по казармам, расположенным вблизи. Часовой не подпускает близко. Спрашиваем: „есть ли офицер?" Получаем ответ: или нет, или спит. Разговор происходит издали. Потом говорим: „Товарищ, революция! свобода!". Невольно, почти бессознательно, часовой опускает винтовку. Даешь листовку, просиш потихоньку рассказать товарищам. Так прошла первая ночь.

На утро 1 марта получаем телеграммы об аресте министров и т. д. одну за другой. Улицы заполнены народом, но солдат еще нет. Начальник гарнизона получает грозные шифрованные телеграммы о недопущении неподчинения и беспорядков. Все подавлять в зародыше. Начальство проводит день в совещаниях, строчит планы и приказы.

Вечером 1-го марта получается первый конфликт с ад'ютантом, поручиком Зобусовым. Произошел он во время перепечатки приказа по гарнизону. Содержание его не помню, но знаю, что то должны были сделать серьезное. Разговаривали зло, без вытягивания и козырянья. Напечатанный приказ под его наблюдением нами самовольно по частям гарнизона не был разослан. Все отправились опять в думу, на улицу. Предупредили, кого нужно. Рассказывали о замыслах попадавшимся солдатам.

В час или в 2 часа ночи под 2-ое марта в Думе было решено обезоружить полицию и арестовать губернатора.

Поджидаемые подготовленные части не явились. Мы бросились в ближайшие казармы, к 13-му смешанному училищу, где помещалась

13 или 14 рота 92 полка. Нас не пустили. Здесь были офицеры на чеку. Оружие было под охраной. Солдаты не спят, бродят по двору. Издали мы крикнули находившимся во дворе: „Товарищи вас обманывают. Идите на улицу". Часть бросилась через ограду к Михайло-архангельской церкви. За ними бежал офицер, грозил стрелять. Его кто-то сзади ударил по уху, он упал, вскочил и убежал. Быстро отозвались дружинники.

Ими были сорваны замки, выломаны двери и добыто оружие. Тоже сделала по нашему призыву и 13 рота. Всего разных частей явилось около трех рот. К ним вышел молодой прапорщик, кто он не помню, коротко спросил собравшихся солдат: „Знаете ли вы, товарищи, зачем вы пришли сюда? Сумеете ли, если даже потребуется умереть, защищать революцию?"—„Да, товарищ,—отвечает чернобородый фельдфебель дружины. Подается команда. Разводятся части для охраны подходов к Думе, а остальные двинулись для разоружения и ареста.

Весь день 2-го марта вели по улицам разных чинов полиции. Ребятишкам нужно было больше всех: они кругом впереди и сзади сопровождают арестованных криком и гамом. Лопнули оковы и мрачной казармы. Большинство солдат на улице. Все живет и ликует как будто неожиданно свалилась „свобода". Каждый жил, как во сне, как в сказке. А в это время в кабинетах шла работа в двух направлениях: одни стремились закреплять и углублять, а другие хотели во чтобы то ни стало воспользоваться увлечением и темнотой солдат, устроить хорошую баню, дерзнувшим пожелать быть свободными. Так думали сделать руководящие военные круги.

Утром 2-го марта нас собирает полковник Янишевский и говорит, что жизнь очень сложная вещь, и не вам, молодежи, об этом судить. Революционеры, хотя бы Керенский, молоды, не опытные горячие головы, живущие чувствами, им верить нельзя. Доверьтесь нам. Мы пожили, знаем жизнь. Наше возмущение не знало границ. Хотелось немедленно арестовать и отправить, но не решились. В это же время мы узнали, что в Думе решено на завтра, 3-го марта, устроить торжественное празднование, выйти на площадь и в знак того, что солдаты вместе с рабочими на площади должен был быть устроен совместный парад, на котором солдаты должны быть вооруженными.

Военные верхи решили воспользоваться этим для своих целей. Мы подслушали, что они хотят устроить ужасное злодейское дело: расстрелять демонстрантов. Это гадкое дело могло быть осуществлено, т. к. одну батарею артиллерии они держали в своих руках. Но в общем, как видно, у них не было единства, часть, нам было известно, определенно стояла за поддержку революции. Как только мы получили эти сведения, немедленно было дано знать о них новому революционному коменданту города.

Явившийся к нам офицерик помялся в передней и ушел. Мы волновались, отправили своего делегата еще раз в Думу. Результатов не помню. Помню лишь, что на вечернем заседании военных заправил сторонники выступления остались в меньшинстве.

Утром 3-го марта полковник Янишевский еще хорохорился. Неожиданно для нас нам сообщают, что приветствуя около Думы солдат он назвался избранным комендантом города, но заговорил совсем не революционным языком. Мы вновь забили тревогу. Как случилось, что он стал комендантом точно не помню, но только это было мгновенно.

В то же утро нас созывает капитан Бирюков старший ад'ютант бригады и говорит: мы тоже понимаем, что самодержавие было тяжело и вредно народу, и офицеры будут служить ему так же честно и требуем этого от подчиненных. Поэтому в сегодняшних демонстрациях он нам разрешает быть только на улице но ни в коем случае не сливаться с толпами, особенно черни. Всех замеченных будет строго карать. Прорвался. Кончил. Никогда не было перед ним, безличным, развратным, похожим на выжатый лимон,—ни трепета, ни уважения и при таких последних словах у всех появилась улыбка.

Вслед ему кое-кто крикнул: „Опоздали"! Кое-кто присвистнул.

3-го марта был действительный праздник. В этот день наиболее реально чувствовалось совершившееся. Желание генералов, полковников не сбылось. Московская площадь покрылась многотысячной армией солдат саратовского гарнизона. Труженики в блузе и в серой шинели заедино праздновали. Вместе приветствовали освобожденных из тюрьмы борцов. Чем жестче был гнет сандецких, тем могучей явилась революционная волна. Тем торжественней и шире праздновались первые дни освобождения от векового гнета.

М. Блинов.

„Кузнецкая республика“.

Кузнецк—город кустарей (сапожники, кузнецы, башмачники и т. под.) и их эксплоататоров-скупщиков. Имеется много средних и довольно крупных заводов кожевенных и овчинных. Эксплоатация самая свирепая: работы на многих заводах начинались с 12 часов ночи. Рабочие—неграмотные почти сплошь. Имелся небольшой механический завод, где рабочие (около 50—60 человек) были в сравнительно лучших условиях и более развиты.

Первого марта мне сообщил один из служащих Земской Управы, что получена телеграмма о революции в Петрограде, но что член управы скрывает ее и распорядился никому не сообщать ее содержания.

Радость и возмущение охватили меня одновременно с какой-то необыкновенной силой и я с криком „Ура“ влетел в Земскую Управу и потребовал, как выборщик от горожан в Гос. Думу, чтоб телеграмма сейчас же была размножена и распространена.

Озадаченная управа не оказала сопротивления и несколько управских машинок застучали тут же при мне, а через 10—15 минут я уже несся по улице раздавая телеграммы знакомым и незнакомым—солдатам, кустарям, чиновникам, встречным.

Следующим моментом было—оповестить уезд. Я принялся звонить во все волости, больницы, винокуренные заводы, прочитывая в телефон телеграмму Родзянки и прося, как можно скорее распространять известие среди крестьян.

Вечером должно было происходить какое-то собрание драматического кружка и я решил превратить его в митинг.

Получив известие, что рабочие механического завода интересуются происходящим, я просил их явиться в народный дом на собрание, захватив всех знакомых.

Но Совет старшин перепугался на смерть. Битый час я доказывал этим чиновникам необходимость открыть собрание и расширить повестку дня обсуждением текущего момента.

Забившись в отдельнуы комнату, старшины упорно сопротивлялись, ссылаясь на незаконнность подобного „выхождения из рамок программы дня“ и на прямое запрещение исправника, кем то осведомленного о затеянном мною митинге.

Некоторые члены Совета старшин пострадали в первую революцию и перспектива возможной ответственности приводила их в отчаяние и они особенно упорно и даже злобно противились.

Публики набралось очень много и она терпеливо ждала в темном зале. Я приходил в бешенство, упрекал старшин, называл их трусами, изменниками революции, мягкотелой интеллигенцией—ничего не помогало!

Наконец, я заявил, что я игнорирую их запрещение овладеваю Народным Домом, как достоянием народа и явочно открываю митинг.

Силой—можете, если вам не дороги интересы кружка и Нардома,—ответили мне,—но освещение мы вам не дадим.

Я отправился к собравшейся в фойэ театра публике и забравшись на табуретку, в темноте, рассказал о предательском поведении старшин и, прочитав телеграмму, комментировал ее, пригласив собрание явиться завтра в Городскую Думу, где нужно будет принять ряд постановлений, отвечающих важности момента.

На другой день я получил выговор от городского головы за назначение собрания в думе без разрешения управы. Мои переговоры с ним привели однако к тому, что и сам голова согласился, что надо созвать собрание, тем более, что были уже получены кое-какие подробности от желдорожников.

Городская Дума к вечеру другого дня была битком набита разнообразнейшей публикой.

На третий день возбуждение дошло до апогея. Собрание граждан устроено в зале Реального училища, прошло уже при всех признаках самодеятельности и революционности. В собрании приняли участие солдаты местного гарнизона, которым мы предоставили места в нашем Исполнит. к-те.

Собрание утвердило положение и тут же произвело часть выборов. Но самым замечательным актом этого собрания было постановление арестовать полицию. Для чего тут же были отряжены добровольцы под командой городского головы.

Полиция, все три дня никакого признака жизни не подававшая была без всякого сопротивления арестована во главе с исправником и препровождена в тюрьму.

На утро городская управа назначила комиссара—Трирогова, а он поручил мне организацию милиционных дружин.

С этого момента начинается что-то новое, которое я в пылу напряженной суеты и работы не сразу осознал.

При посещениях по делам новой службы управы, я чувствовал, что как будто изменилось отношение ко мне старых заправил и представителей местного купечества, чувствовал мимолетно, что первая радость у них сменяется тревогой и появляется какое-то противодействие и даже злоба.

Вот—перевертни! жаловался я Трирогову, с которым мы целые дни проводили в здании бывшей полиции, давая распоряжения и производя разбор тысяч дел всевозможных.

В воскресенье произошло народное собрание в Нардоме, зал вмещающий более тысячи зрителей был набит до невозможности. Возбуждение и ликование не бывалые.

В торжественной речи я напомнил народу историю борьбы, предложил почтить память борцов революции и, указав на опасность, грозящую революции со стороны войск Вильгельма, призывал к выдержке и твердости. Долой царя, да здравствует уч. собрание!

Пятого образовался Испол. к-тет представителей думы, земства, мещ. общества, рабочих, служащих и представителей гарнизона. Я был избран его председателем.

Настроение у всех было радостное, приподнятое. Я не помню ни одного тревожного взгляда, сумрачного лица.

Рассматривая присутствующих, я вспомнил революцию пятого года, которую я провел в том же Кузнецке. Тогда люди были потрясены, растерялись, многие были дико-озлоблены, особенно темные кустари, владельцы мастерских и заводиков, почти все старообрядцы.

Теперь все были радостны и спокойны.

Высказалось несколько ораторов, выражавших радость по поводу случившегося и никаких предложений не сделавших. Всем казалось, что надо ждать дальнейших известий, так как мы кроме, голого факта революции, решительно ничего не знаем. Знаем, что

Гос. Дума была распущена, но не разошлась, а образовала „временный комитет" под председательством Родзянки.

Это в то время, когда уже шел пятый день революции и четыре дня уже работал Сов. Раб. Депутатов.

Но я не согласился с предыдущими ораторами и, заявив торжественно, что так как с момента революции у власти стал сам „его величество—народ", предложил избрать Исполнительный комитет из представителей общественных групп и органов.

После некоторых колебаний городской управы, ввиду энергичной поддержки со стороны трудовой массы, собрание постановило: избрать временный Исполнительный комитет и поручить ему немедленно выработать положение о выборах и провести их.

В этот комитет были избраны открытым голосованием: городской голова Г. А. Башкиров, владелец механического завода, потом, после октября, сбежавший, В. В. Трирогов, либеральный адвокат, земец, потом застрявший в Сызрани в момент прохождения Чехословацких эшелонов и ушедший в Сибирь, В. И. Федоров, служащий винного склада, потом растрелянный, не помню кто еще (кто-то бездеятельный) и я.

Сейчас мне трудно сказать, что собственно я делал в эти первые дни, первую неделю.

Но дела было так много и оно казалось таким важным, ответственным и требующим так много сил и времени, что всею первую неделю я почти не был дома, почти не ел и не спал. Я и Трирогов (первые дни, пока был комиссаром без Исп. к-та) уходили со службы революции в 3—4 часа ночи, усилием воли отрываясь от дел, и в семь часов утра уже были на деле, окруженные тысячами людей непрерывно нас тормошивших с делами.

Я проработал в качестве председателя Исп. к-та Народной Власти восемь месяцев и не помню часа свободного в 20-часовом рабочем дне. Нахлынула какая-то нескончаемая волна крестьян, которые шли и шли с миллионами нужд и вопросов.

А никаких „законов" о земле не было, надо было разрешать самому и я разрешал, видя, что и „мужицкий министр" Чернов, топчется на месте и земля не движется.

Опираясь на Исп. к-т, пополненный представителями от крестьян, я проводил „свои законы": у одних помещиков отбирал землю и передавал крестьянам, другим назначал максимальную арендную плату, сведя ее к 2—3 руб. за десятину; делил луга и леса. Организовал лесной комитет, сделавши очень много под умелым и твердым руководством члена президиума Исп. к-та, учителя, быв. прапорщика И. С. Зуева.

Написав устав организации вол. и сел. к-тов по всему уезду и проведя его через Исп. к-т—осуществил организацию. И все это без малейшего отношения к центру, губернскому и столичному. Получилась сама собою республика. Изменили состав гласных думы и земства; разрешили вольную продажу хлеба, запретили вывоз его из уезда.

Арестовывали, освобождали арестованных царской властью солдат и штатских. Организовали союзы крестьян и рабочих; устанавливали рабочий день. Устраивали с'езды. Ездили на места разбирать земельные недоразумения. Отправляли одного за другим агитаторов в деревню. Издавали газету, приобретя на собранные деньги типографию. Взяли на учет имения и добро помещиков; взяли суконную фабрику у Асеева, а его посадили. Отпускали даже солдатские части по домам.

Ни одного разгрома, ни одного грабежа. Сохранили даже винный склад с 40 тысячами ведер спирта и пять таких же складов в уезде.

Губкомиссар меньшевик Топуридзе отдал меня под суд, как председателя земельного к-та, за самовольное распоряжение землей и добром помещиков, но это как-то ни в малейшей степени не беспокоило и не стесняло в действиях.

Мы не только не обеспокоили центр домогательствами средств на содержание к-та, но оставили нашим наследникам—земству и городу—имущество в несколько десятков тысяч.

1-го Ноября я сдал все дела Исп. к-та Земству в лице председателя управы эсера Г. К. Ульянова.

Городская дума, избранная на основании четырех-хвостки и получившая подавляющее эсеровское большинство, в одном из первых заседаний, в знак своего уважения к деятельности Исп. к-та и его руководителя избрала его почетным гражданином города Кузнецка и предоставила ему место в своих рядах

Самым светлым, самым неожиданно-радостным из всей моей работы за это время для меня была и останется: изумившая меня с первых же шагов, способность простых русских людей, без образования и опыта, быстро ориентироваться в трудных и ответственных делах и делать их так, как будто они их давно или даже всегда делали.

Передо мной за восемь месяцев прошли сотни товарищей из солдат, крестьян, мелких служащих и немного рабочих и все они, все до одного, оказались способными для прямо государственной работы. Я постоянно ощущал великую радость за народ и революцию, наблюдая своих сотрудников на новом, во сне не виданном деле.

Действительно, „в рабстве спасенное сердце свободное—золото, золото сердце народное!" Революция непобедима!

Самое тяжелое воспоминание—поведение Кузнецкой буржуазии. Тупая, жадная, своекорыстная, она быстро почувствовала „куда мы идем" и обдавала ненавистью и меня и революцию еще тогда, когда ее не трогали...

Революция шла к Октябрю. Буржуазия это предвидела.

Ф. Бобылев.

КУСКИ ВОСПОМИНАНИЙ.

(Февраль в ссылке).

Есть в памяти ценное, что можно и надо записать. Это обрывки воспоминаний, мелкие штрихи, иногда узоры эпохи. Они могут быть ценными, сплетаясь с другими штрихами и узорами и таким образом быть вкладом в историю. Трудно вспомнить даты—время так мелькало, „паровоз истории" так отчаянно мчал, что отмечать вехи дней и чисел не было досуга. Поэтому воспоминания—лишь эпизоды в развитии революционных событий.

Начну с февральской революции...

Политическая ссылка жила предчувствиями. Из России приходили письма, газеты, но по ним трудно было судить о назревающих событиях. Было ясно только, что либеральные надежды идут прахом—рухнули военнопромышленные комитеты, трещал либерально-оборонческий блок, ибо вместо тенденций к сближению, правительство посылало ему жирные плевки. Неудачи либерализма и оборончества радовали тех из нас, у кого была тверда вера в крах всей этой кровавой мерзости, на фоне которой самодержавие разлагалось в шутовской арлекинаде министерской чехарды и распутинского распутства. И если у многих вера в пролетарское восстание, в социальную революцию колебалась в июльские дни 14-го года, когда пролетарии пошли безропотно на убой, то к исходу 16-го года она вновь окрепла под влиянием рабочих стачек и все растущих революционных настроений в рабочих массах.

Тем не менее, когда первая телеграмма пришла в Манзурку из Иркутска, смутно сообщая о факте политического переворота, нас она ошеломила—„Самодержавие свергнуто, власть перешла временному правительству. Ура!".

Телеграфировал кто-то из иркутских ссыльных. Самодержавие свергнуто? Что, когда, кем, как?... Вся политическая ссылка сбилась в кучу в одной чалдонской избе. Волнение необычное, кой у кого на глазах слезы. Один старик—рабочий с.-д. большевик—не выдержал, зарыдал, и его никто не успокаивал, ибо это были слезы красной радости.

Попытались судить, определить обстановку „текущего момента". Ничего не вышло: уравнение с весьма многими неизвестными. Обсуждение отложили до следующих известий, а решили просто отпраздновать радостную телеграмму. Пропели цикл революционных песен и перешли к веселью уже непосредственному. Не тут-то было...

В избу влетает вооруженный до зубов пристав с „наблюдателями" и полицейскими.

— „Что за сборище? Устава ссылки не соблюдать!..

Ого, а ведь он о телеграмме знает. Больше того,—именно поэтому и набрел на сборище. Обычно на вечерки ссыльных начальство смотрело сквозь пальцы. Однако, показываем телеграмму, надо же доказать воочию наше право на сегодняшнее веселье,

— Ну, что-ж, господа, если вы хотите продолжать по этой телеграмме, то вам надо арестовать меня, а если вы этого не сделаете, то исполните сейчас же мой приказ—разойдитесь!—При этом внушительно оглядел полицейских.

Вопрос поставлен просто и прямо, полицейские с винтовками смотрят вызывающе.

Телеграмма блекнет, самодержавие в образе пристава берет реванш, неловко и понуро мы расходимся.

Но не на долго: „Самодержавие свергнуто"—сверлит в мозгу, и мы сходимся снова.

О, черт возьми—опять пристав! Но уже без оружия и конвоя, ласков и улыбчив. Вот что значит подковать себя на все четыре ноги: он теперь пришел... поздравлять! Здесь уже лопнула наша робость и мы вежливо попросили его оставить нас одних. Извинился и ушел...

* *
*

На следующий день—это было хорошее, солнечное воскресенье—вся политическая ссылка, числом больше сотни, собралась в середине села, около волостного правления. Была уже получена вторая телеграмма, не помню точно ее текста, но она подтверждала первую и сообщала об образовании временного правительства с участием Керенского. Последнее обстоятельство ссыльных эсеров заметно смутило, а у нас (эсдеков) вызвало иронические смешки на тот предмет, что „эсеры пошли в гору вместе с Павлом Николаевичем" (Милюковым)...

Но чувство реального, радостного освобождения покрывало все. Не хотелось анализировать, обдумывать ситуации, спорить—хотелось просто радоваться, по-детски скакать и прыгать и улыбаться солнцу.

Кто-то влез на сруб колодца и с сияющим воодушевлением начал говорить речь. Что он говорил, никому было не важно, важно было другое—сознание, что он, говорящий, с глазами радости и света, был симптомом, знаком свершенной революции.

—„Сгинуло самодержавие, ура!"....

— Товарищи, к могилам тех, кто здесь умер, не дождавшись дней прекрасного счастья быть свободным в свободной стране!

Шапки, как ветром, смахнуло с голов, с лиц спала радость и революционно-траурный марш звуками скорби огласил площадь. Черный и красный взмахи, и над толпой взвились символы смерти и победы, простые, без надписей и отделки, то, что новый министр в 905-м году презрительно-злобно назвал „тряпкой". Нам эти первые символы были драгоценнее тысяч других, расшитых и расписанных...

Нестройной кучей вдоль села тронулись к кладбищу, за околицу, сменяя траурный гимн интернационалом и марсельезой.

Кладбище убогое, в лесистой, тайговой глуши и без деревца. Черные, искосые кресты, словно по небрежной случайности воткнутые в снег. Среди них затеренные могилы наших товарищей. Не умеем мы хранить мертвых, редко и вспоминаем их, ибо жизнь властно и неуклонно приковывает к себе наше внимание и энергию.

Понуро стали мы вокруг могил близких и в то же время далеких. Но зазвучало страстное слово революции и в скорби могучее и в смерти жизнь пробуждающее, выпрямились спины и к небу блеснули глаза.

—„Спите, товарищи! Завещенное вами свершено"........

Не дождавшись конца речей, я вышел с кладбища и зашагал обратно на село. Тянуло к чалдонам, хотелось знать скорей, как они, народ, сибирский крестьянин, приняли весть о революции.

Навстречу, запыхавшись от бега, налетает ссыльный, но из другой ссылки „военного времени".

Надо сказать, более неприятного типа ссыльных, нежели эти продукты военного безвременья, трудно и представить. Спекулянты, содержатели кабаков и погребков, торговцы живым телом и т. д. Редко среди них попадался просто порядочный обыватель. Высылались они за продажу водки в прифронтовой полосе, по подозрению в шпионаже и т. д. Уголовная ссылка была куда приятнее, чем эта отвратительная мещанская накипь. Большинство из них—люди с денежными средствами—пьянство, картеж, угодничество перед полицией, спекулятивные делишки,—все это делало их положительно нестерпимыми в ссыльной среде, и политическая ссылка от них резко отмежевалась. Многие из них не прочь были выдавать себя за „политиков", и этим могли вредить нам среди местного населения. К счастью наметанный глаз чалдона легко отличал этих ворон в павлиньих перьях.

Один из таких ссыльных, повидимому, чем то перепуганный и налетел на меня.

— „Господин Флеровский, там в правлении пристав собрал крестьян, возбуждает против евреев, погром может быть!... Пожалуйста, мы ведь не причем тут, мы пострадать можем....

Не дожидаясь дальнейших раз'яснений, я в свою очередь бегом направился к „волости". Небольшие сени заполнены народом, дверь в „присутствие" открыта, там тоже чалдоны, а за барьером пристав держит речь. Встал в толпе и прислушиваюсь.

... „Государь Император сам всемилостивейше отрекся и передал престол Михаилу Александровичу. Он жертву принес... на колени перед ним, а эти жиды портреты срывают, они"...

Здесь я не выдержал. Раздвинул толпу и прыгнул за барьер. В упор смотрел на пристава и говорил: „Вы знаете, что образовано временное правительство, и ваша речь—речь мятежника"... Затем начинаю говорить плотной толпе чалдонов. Что говорил, не помню, но говорил горячо и, должно быть, мало вразумительно. Когда кончил, толпа сомнительно смотрела на меня и с опаской на пристава, который в течение речи каждую фразу сопровождал выкриком— „ложь! ложь, ложь"...

Подошли вернувшиеся с кладбища товарищи, толпа высыпала на улицу. Пристав перетрусил, в чем то стал извиняться и бочком, бочком удалился с собрания. Двое оставшихся полицейских были обезоружены,—это произвело на толпу заметное впечатление. Здесь же постановили вечером собраться в школе, побеседовать и выбрать новый орган власти.

Вечером школа оказалась переполненной и не вместила всех желающих.

Один из ссыльных держал речь о революции, о земле, о свободах, бесконечную первую речь, в которую хотелось вложить все. Мне предстояло говорить потом и о войне. Вопрос среди ссылки вызывал жгучие споры, и у нас были „оборонцы", как то примут чалдоны.

Помня опыт моего выступления в „волости", я подавил всякую горячность и старался прошибить чертовски уж спокойные головы сибиряков доводами от хозяйства и рассудка.

— „Товарищи крестьяне! Нам в революции важны не красивые слова и пышные одежды знамен, нам нужно от нее получить прямую рабочую и крестьянскую выгоду, надо, чтоб нам дышалось легче.

Отчего нам сейчас всего трудней?

От войны. Она забрала ваших сыновей и братьев, от нее падает хозяйство, растут цены... И т. д., и т. д.

— Революция в первую очередь должна покончить с войной,— вот это будет наша, рабочая и крестьянская революция!..

Речь подействовала прекрасно. Кто-то из „оборонцев“ пытался говорить по своему, но успеха не имел. Вынесли постановление—телеграфировать временному правительству, чтоб немедля кончало войну. Так-де хотят все крестьяне.

Перешли к организации власти в волости. Тут же сами чалдоны весьма логично потребовали первым делом арестовать всю старую власть. Были выбраны и посланы для ареста тройки, во главе каждой из них встал ссыльный.

Арестовали мирового судью, акцизного, крестьянского начальника, урядника. Пристава оставили под домашним арестом, потому что от нервного потрясения не выдержал и заболел. Врач (свой человек) болезнь удостоверил. Арестованных посадили в пересыльную каталажку, через которую прошли тысячи наших этапов. Никто не злорадствовал, но все—и ссыльные и чалдоны—были довольны заперев начальство в грязной конуре.

— Вот и вы, миляги, посидите, ничего, место подходящее...

Оружие у них отобрали, и передали избранной новой милиции.

Избрали и новый орган власти—„исполнительный комитет“. Откуда взялось это название, сказать трудно, но оно выплыло как то разом, и никто его не оспаривал.

В исполком вошли трое чалдонов из наиболее бывалых и развитых и двое ссыльных из очалдонившихся и остающихся жить в Манзурке.

Закончили революционными песнями.

На утро исполком приступил к работе, революция в сибирской деревне организовалась.

Не раз я задумывался над вопросом: нужна ли чалдону, вот этому крепкому манзурскому крестьянину, революция, и если да, то какая революция? С хозяйственной стороны ему пока нечего ждать от революции.

Здесь весь хозяйственный успех построен на семейно-производственной мощи, на энергии и предприимчивости. Чалдон, что американский скваттэр,—перед ним безбрежная с извечно спокойным шумом загадочная тайга. В ней все—лес для жилья и топлива, зверье на пищу и одежду, а хочешь сеять—вырубай, сколько сил хватит и сей, только место найди „подходяво“. В таиговом хозяйстве революция безсильна прибавить и убавить, ибо регламентировать пустую, огромную тайгу пока экономическая бессмыслица.

Чиновно-полицейский произвол и трактовая повинность,—вот, пожалуй, что хотелось бы чалдону ликвидировать. Но полицейский „произвол“ особенно чалдона не тяготил, ибо он был весьма условен. На тракту да в тайге за каждым кустом незримая опасность, и эту опасность полиция учитывает превосходно. Налетели раз скопом и с приставом во главе на самогонную курилку в тайге полицейские, забрали прекрасно оборудованную „технику“ и поволокли. А из за куста спокойный окрик—„однако, положите обратно, а то стрельну“. Встали, как вкопанные, почесали затылки и исполнили. Полицейский произвол не так уж страшен, полиция даже очень нужна и полезна для охраны от воров и бродяг, ежели она добросовестная.

И только гужевая повинность—вот уж подлинная „язва“ чалдону. И потому, первым актом „временного волисполкома“ был приказ об отмене гужеповинности, за исключением почтовой гоньбы.

Как будто этим постановлением весь резон революци в Манзурке и был исчерпан.

И всетаки, по всей волости с революцией разлилась какая то особая атмосфера праздничной радости. Чалдон стал мягче, общительнее. Чалдон ждал, что будет дальше, и конца войны.

Верхом на бурятке я об'езжал волость. Собирались всюду все—крестьяне, чалдонки, дети, слушали с всерастущим интересом о республике, о земле, даже о социализме. И поднимался плач, когда говорил о войне. Всюду одна „лезоруция"—кончать ее проклятущую. Еще нравилось слово *граждане.*—Ах, какое словцо-то! Был я чалдон Митька а теперь во—*гражданин.* Выхожу однажды с собрания и слышу—мальчишки друг дружку „гражданенками" зовут.

Жены чалдонов любили слушать „женский вопрос". Свободолюбивая, крепко сколоченная женщина тайги, кажется не знала участи некрасовской женщины—(„вечно рабу покоряться"), и ей было приятно, что революционный закон дал теперь ей полное „равноправие".

И так, несмотря как будто на слабую заинтересованность, чалдоны приняли революцию одобрительно и радостно.

Жалко только было расставаться с ссыльными. Сжились и любили, культуру перенимали, „коперацию" строили, лечились, да мало-ли что пользовали, а теперь все разлетаются. Хоть и рады за людей, да больно жалко и накладно.

А ссылка, между тем, стремительно разлеталась. Не хватало для всех подвод, на них клали только вещи, и шли сами пешком. Это был „доподлинный" поход библейский. Чалдоны подобрели, принимали ночевать, легко давали лошадей и слали в след добрые пожелания.

Временное правительство, разославшее распоряжение об амнистии, забыло два рода ссылки—военную и уголовную. В Верхоленском уезде последняя была немногочисленна, но первая заполняла села и деревни.

Никто не знал, как быть с ними. Они ходили, как угорелые, и наконец, порешили плыть самотеком. А между тем, эта публика для революционной России была балластом едва-ли приятным. Мы не раз обсуждали вопрос об их участи, и махнули рукой—все равно не сдержать, да и не до них было.

Сибирская деревня пустела.

* * *

Исполнительный комитет получал всю корреспонденцию, идущую в адрес старых властей. Нас чрезвычайно удивляло, что из Верхоленска по прежнему шлет приказы исправник. Чтобы это значило. Ползли слухи, что исправник не сдает власти, окружил себя полицией и пулеметами, присланными раньше генер-губернатором Польцем. Слухи эти волновали и злили. До Верхоленска от Манзурки 90 верст.

У меня возникла мысль снарядить „военную" экспедицию для проверки слухов и установления революционной власти в Верхоленске. Подговорил на этот шаг одного товарища из старых эсеровских боевиков, и „экспедиция" была организована. В час прихода почтовых повозок из Иркутска мы пошли на почтовую станцию. Повозки всегда сопровождались конвоем из солдат, числом иногда до семи. На этот раз почта оказалась маленькой и солдат было только трое. Не беда, хватит.

Вызвали солдат в комнаты.

— Вы знаете о том, что самодержавие сброшено?—Точно так.—Вы готовы подчиняться новой власти?—Точно так.

— Так вот,—именем манзурского исполнительного комитета приказываю вам ехать со мной в Верхоленск, там исправник не хочет подчиняться, его надо арестовать, готовы?

— Точно так. Но кто же будет охранять почту, ведь она нам вверена?—„Не беда, мы посадим наших милиционеров, они довезут до Верхоленска, а там опять вы примете"..,

Солдаты больше не возражали. Нам заложили две свежие тройки и помчали. „Экспедиция" радовала, бодрила.

— „Как на экс иду"—улыбался мой друг боевик,—хорошо жить!

Было действительно хорошо, под малиновый звон колокольчиков думалось о широком разливе души народн. в океане безбрежн. революции...

На станции (не помню бурятского названия) быстро сменили лошадей. Буряты смотрели новую „власть", качали задумчиво азиатскими головами и говорили.

— „Был пристав мухой (плох), будет новый не знаем".

Глубокой ночью прилетели в Качуг, где много было ссылки. Пока меняли лошадей, зашли к товарищам. Эти о Верхоленске ничего не знали и нашу экспедицию одобрили, но как то равнодушно. Чувствовалось, что им плевать с высокого дерева на весь уезд, все думы летят из Сибири в Росссию, собираются, спешат уехать...

Под утро, с ранним рассветом влетаем в город. Столица уезда с добрую русскую губернию еще мирно спит. Первым оказался дом помощника исправника. Калитка не заперта. Входим прямо в переднюю. Выскочила испуганная баба и заахала. Торопливо застегивая рейтузы, на босу ногу, выбежал и помисправник, увидел нас, солдат, побледнел и рыхлое толстое тело затряслось в крупной дрожи.—„Не бойтесь. Вы арестованы, давайте оружие". Отдал два браунинга. Оставляем одного солдата стеречь, сами едем дальше, к исправнику.

Здесь тоже не ждали новых гостей.

Исправник вскочил с постели с маузером в руке, но увидев нашу силу отдал револьвер...

Между тем, слух о нашем приезде распространился по городу, город ожил.

На квартиру исправника влетает какой то тип в чиновнич. фуражке.

— „Что это значит? Кто вы?.. Я председатель верхоленского исполнительного комитета"...

Вот что... приказываю ему не ерепениться и в правлении исправника собрать их „исполком".

Через полчаса все были в правлении. Посмотрел „исполкомщиков",—все местные чиновники и богатеи, друзья по винту и преферансам исправника.

Вот почему исправник слал распоряжения. Выхожу с товарищем в другую комнату посоветываться, как поступить. Только отошли, как вбегает один из солдат и тревожно сообщает:—„Там с десяток людей с винтовками". Вбегаем обратно. Смотрю, в ряд выстроились люди в разноцветных рубашках под ремнями и в одноцветных полицейских штанах. В руках винтовки. „Председатель" стоит с боку и командует. Рожи у всех прескверные и на нас смотрят волками.

— Это что такое?—спрашиваю.—Наша милиция.—Вы обращаюсь к „милиционерам"—новой власти подчиняетесь? Гаркнули разом,—точно так.

— Налево кругом, отправляйтесь. Повернули и вышли. Атмосфера разрядилась.

Открыли собрание. Я передал слухи, вызвавшие наш приезд, обругал „исполком" и об'явил, что исправника мы берем с собой. Напуганный исполком не возражал.

Покончили общим миром. Устроили митинг, напились потом у „председателя" чаю, забрали револьверы и с десяток винтовок, захватили с собой исправника и покончив, таким образом, с „революционным переворотом" в Верхоленске отправились обратно.

Облобызались с солдатами и вернули их к подоспевшим почтовым повозкам.

И. Флеровский.



В венгерском плену.

(Перед и во время февральской революции).

Эстергом-табор.

Только пленный может понять страдания и тоску пленного. Страдания от систематической голодовки и недоедания, того недоедания, которое, повторяясь изо-дня в день, месяц за месяцем и год за годом, истощало организм самых здоровых. Большая часть пленных заболевала туберкулезом и или умерла там на далекой чужбине, или приехала истощенная в Россию с тою же болезнью. Только небольшая часть тех, коим удалось устроиться на полевых работах у разных помещиков и крестьян, сохранила свое здоровье. Но и эта часть к концу плена (т. е. к началу обмена пленными уже к весне 1918 года) на всех почти работах сильно голодала: венгерское крестьянство истощалось реквизициями и всякими налогами на войну, война отражалась и на помещиках, кормить нас стали безобразно, а эксплоатация была прежняя—унизительная, рабская, безпощадная.

Тоска... Я не знал более сильных психических мучений, как тоска в плену. Еще на работах она несколько умерялась трудом, да, только несколько, ибо пленный, чувствующий себя рабом, под палкой и окриком хозяина, под штыком и постоянными побоями часовых (в лагерях), не мог и не хотел работать. Именно, не хотел, а делал по пословице—„дело не делать, от дела не бегать", а работать так, как кормят, а по возможности ничего не делать.

В лагерях же, за двойными высокими проволочными решетками, окруженными частой цепью часовых, всегда голодные, холодные, часто раздетые и разутые (впрочем одежда мало смущала), в осточертевших казенных бараках, в суровой тюремной обстановке, вдали от родины, семьи и всего дорогого—тосковали до одурения, метались, как звери в клетке...

Война набросала в плен русских людей со всех концов тогда „единой и неделимой Руси" и разных классов, сословий, мастей и цветов.

Всех их связывало одно—они русские, на чужбине, все тоскуют, находятся за решеткой. Но эта связь была внешней. Сейчас же шло глубокое разделение. Царская Россия, с ее привиллегиями для одних и положением вола и пария для других, с ее презрением к солдату, к темной забитой „шпане", „навозу" и превосходством офицеров и других чинов воинских—царило долго в плену. А враг, у которого трудящиеся тоже были на положении наемного или иного раба, где армия также была построена на мертвом, тупом подчинении низших высшим, где господствовало мордобитие и тоже презрение к солдату—этот враг сейчас же делил приходящих к нему пленных на овец и козлищ и ставил их в разные условия существования. Овцы—офицеры, вольноопределяющиеся, подпрапорщики, фельдфебеля, козлища—все остальные. Одни жили в отдельных бараках и ничего не делали, не подвергались побоям, их не отправляли на

работы, это белая кость плена. Особенно офицеры, особенно „вольноперы“ (вольноопределяющиеся)! Эти мало голодали, ибо больше получали из дома денег и посылок, их кормили лучше. Другие—вся остальная многомиллионная масса, которая несла все ужасы истязаний, голода, каторжного труда; она десятками, сотнями и тысячами, полегла в большей своей массе навсегда во всех уголках лоскутной империи...

Эти два лагеря по разному страдали в плену. Одни „тосковали по прервавшейся карьере, по „завидному“ положению в армии, болели душой по „царской России“, от ненависти к врагу. Другие, в большинстве, в 99%, были рады, что избавились от проклятых позиций, были довольны прекращению армейских мытарств, а тосковали по семье, хозяйству, родному краю, страдали от всего вытекающего из бесправного положения солдата-массовика...

Было разное отношение к войне. Белая кость была патриотична, большая часть из них ярые монархисты. Остальные разных буржуазных оттенков. До революции впрочем трудно было разобрать, кто они по партийной принадлежности, но на всех лежала печать верноподданничества, все они с пеной у рта кричали о победе над германским империализмом и хотели его сокрушить, понимая под этим разбить, завоевать, покорить, уничтожить. Милюков-Дарданелльский был всем люб. Дарданеллы были „необходимы“ для славы русского оружия, расширения границ и пр. Были конечно и среди них единицы—противники войны, но о них было не слышно. Плен особенно сильно обострял шовинизм, ненависть к врагу у этой белой кости, и голоса недовольства войной просто пожирались этим всероссийским белым хамьем.

Другое в широкой массе солдатчины. Здесь различное отношение к войне, к отечеству, царю и пр. Серая масса поражала своей темнотой, бездонным политическим невежеством, элементарной неграмотностью. Здесь много говорили об изменах генералов, были безразличные к войне, но в общей массе смутно и стихийно ненавидели войну—причину их страданий, тоски и горя. Здесь можно было говорить сколько угодно о бесцельности войны, о том, что она вредна для трудящихся, ведется ради выгод и интересов царя, буржуазии и помещиков. Народ слушал с глубоким вниманием и сочувствием.

В лагерях была кое-какая духовная жизнь. Там выписывалась литература на немецком и русском языках. Присылались книги из России через Швецию и Швейцарию. Стали образовываться в средине 16-го года библиотеки. Литература, правда, была скверная, но встречались и хорошие книги, особенно из выписанных русских изданий, изданных за границей. Я помню хорошо Толстого и Горького. Но до половины 16 года все это было доступно только небольшому кругу лиц, особенно постоянно живущим в лагерях и главным образом вольноперам. Редко-редко были и театры. Но уже к концу шестнадцатого года дело начинает меняться. Появились школы для обучения грамоте, общеполезные библиотеки, лекции по образовательным предметам. Это был плод работы небольших групп интеллигенции из учителей, вольноопределяющихся (были из них и такие) и рабочих Москвы, Питера и др. промышленных центров. Причем сначала работа носила вид чистой учебы, без всяких примесей политики. (Политика велась одиночками в частной беседе и чтениях). В плену было мало политически сознательных людей, еще меньше партийных. Особенно меня поражала политическая отсталость учителей, все это были удивительно тупые люди. И понятно: воспитанники столыпинского режима, они не были даже буржуазными демократами, они просто были патриотично-тупы. Но желания вести культурную ра-

боту у них были. Я помню, как несколько человек нас старались использовать влиятельную в лагере (среди конечно венгерского начальства) часть интеллигенции для создания культурных центров: библиотеки-читальни, лекционных зал, театров, чтобы оттуда начать вести более широкую пропаганду антимилитаризма и социалистич. идей. В учебе скоро перевес перешел к лекциям, а когда в лекциях зазвучали голоса к ниспровержению не только царского строя, но и вообще капитализма, то учеба ушла на второй план, и мысли пленных зашевелились, начались споры и забила жизнь.

Это было осенью 16-го года. Стала из-за границы приходить литература партийная, социалистическая. Пришел и потом регулярно стал приходить эсеровский журнал „На чужбине", стала приходить литература и др. партий, меньшевиков и большевиков. Из-за границы призывали к широкой пропаганде среди масс военно-пленных, давали советы, как связаться с ними и как об'единить работу по лагерям. Началось об'единение по лагерям, транспорты литературы увеличились. Мы ожили, работа закипела. Но до революции работа наша тормозилась привиллегированным хамьем, старавшимся нас осмеять не в открытом споре, а за углом, запугивали массу пленных тем, что мол перепишут тех, кто ходит слушать этих крамольников, изменников отечеству и родине. Среди привиллегированного хамья были люди образованные—юристы, инженеры, некоторые знали по несколько языков. Они старались высмеять тех из нас, кто не умел красиво говорить, кто говорил простым рабочим или крестьянским языком. Я помню, мы начали пропаганду трое-четверо, активных из нас особенно было двое—учитель и сапожник. Масса шла за нами, с жадностью ловя каждое слово и зачитываясь революционной литературой...

Надо упомянуть, что примкнул к нам один меньшевик—тоже из привиллегированных, но он вел себя очень „тактично", скоро испугался и сбежал куда-то на выгодную работу из лагеря..

Все это было в глухое время, когда из России не было хороших вестей. Царский режим там еще господствовал с ярым ожесточением. Но в январе 17-го года повеяло чем-то новым. Стали чаще получаться из России газеты. Мы услышали об убийстве Распутина, о голоде в Питере, возмущениях рабочих, драконовских законах против них, назначении Протопопова, министерской чехарде, военно-промышленных комитетах... Из-заграницы нам стали освещать события все чаще и чаще и под углом антимилитаристской пропаганды. Мы, конечно, усилили пропаганду, исстрадавшаяся пленная масса слушала нас все с большим доверием, верой и волнением...

Потом слышим речи Милюкова в думе, опять волнения, февраль уж нас держал в нервном напряжени.. Дело в том, что немецкая печать, почувствовав приближение падения самодержавия, усиленно информировала свое население и нас пленных о русских событиях, радуясь, что один соперник выбудет из строя. Вместе с нею и заграничной информацией мы были в курсе русских событий. В феврале мы с напряжением ждали, что то будет.

Надо сказать, что такое убийственно острое напряжение могли переживать только одни пленные, ибо здесь к общей радости падения самодержавия прибавлялась надежда скорого возвращения из плена, а второе заставляло мириться с первым даже наших врагов по политической работе, за исключением особо ярых. Как это ни странно, но было так. Потом они нам много насолили, особенно, когда наша пропаганда приняла пролетарский характер, но в это время присмирели и ждали событий с тем же напряжением.

К средине февраля вести все более нервировали нас... Забастовки в Питере учащаются, даже выходят на улицы работницы, голод в Питере... казаки... там стреляли, там отказались стрелять. Волнения принимают массовый характер, волнения в воинских частях.... волынцы... Потом падение правительства, арест министров... ловят царя... Он отрекается в пользу наследника. Временный революционный комитет. Все это с быстротой радио подхватывается немецкой печатью и читается нами. Напряжение в лагере дошло до высшей точки кипения. Я помню, что мы недели полторы не выступали с информацией в лагере, стараясь определить поточнее и вернее происходящее в России.

И когда после отречения царя мы об'явили собрание, то кажется не осталось ни одного человека во всем лагере, кто не прибежал бы послушать митинга. Но интереснее дальше. По всем лагерям австро-венгерской монархии военно-пленные начали посылать в Россию телеграммы с поздравлениями и выражением своих чувств и желаний. И вот здесь почти в каждом лагере было по две телеграммы от представителей все тех же групп.

Одна—буржуазная интеллигенция посылала телеграмму князю Львову с пожеланием демократич. реформ. Другие—и здесь об'единились представители разных социалистич. партий на одном—посылали на имя Керенского и Скобелева (предательская роль их стала яснее после, а в это время в правительстве не было более левых представителей) с приветствием и требованиями Социалистической Республики и заключения мира. Из-за телеграмм шла борьба несколько дней, агитировали массу пленных за подпись под ту или иную телеграмму. За привиллегированное "демократическое" хамье подписалось 25 человек, за нашу вся остальная масса пленных. И еще один интересный факт необходимо отметить в первые дни февральской революции в плену.

Вскоре, через месяц—полтора из всех лагерей в Россию полетели наказы пленных уже на имя Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Инициатива исходила из лагеря Шоморая, наиболее активного, где орудовали большевики и который был связан со всеми видными активными лагерями.

Эти наказы вырабатывались социалистич. группами и принимались по пунктам пленной массой, при чем велась широкая революционная пропаганда.

Наказы эти требовали то, что временному правительству было не по силам сделать. Привожу сейчас на память несколько пунктов:

1. Немедленно прекратить войну и заключить мир.
2. Правительство должно быть чисто-социалистическое.
3. Фабрики и заводы рабочим.
4. Вся земля без выкупа трудящимся на ней.
5. Об'явление Республики Социалистической.
6. Немедленный разгон старой Думы и т. д.

Здесь уже орудовали низы пленных, поддерживаемые всей массой.

Привиллегированное хамье упало духом, теряло веру в коалицию, ставшею после ухода Милюкова и Львова для него опасно-левою и неприемлемою. Оно притаилось по углам и злобно оттуда шипело...

Н. Казанский.

Германия, гор. Лангельзальц.

Январь 17 г. Работа под усиленной охраной немецких ландштурмистов. Нас трое. Я, Звенигородский и Акимов. Во что бы то ни стало надо было устроить побег, так этого требовал момент приближения решительной схватки в пределах России. С одной стороны мы были оторваны от основной базы лагерной жизни товарищей, правда, небольшой активной группы, но и она находилась в загоне, Помимо немецких агентов, немцам помогали и русские, особенно последние способствовали немцам в деле изолирования большевиков. Кроме этого, тяга вообще и тоска по дому, по России, заставила нас в одну из темных ночей, взломав решетку—бежать. Попытка к побегу была неудачна. Мы были пойманы и судимы. Результаты суда—приговор к двукратному подвешению к столбу. Лично я терпел, ибо перенес тяжести мук подвешевания к столбу. Меня утешало одно, что я останусь в лагере, где с товарищами могу более широко развернуть работу. А события к этому дню были все новые и новые. Чувствовалась необходимость связи со Швейцарией, где сидел Ильич с Зиновьевым для получения директив в работе. Товарищи приняли все меры к тому, чтобы мне остаться в лагере. В результате, мне удалось после долгих трудов получить некоторую оседлость за проволочными заграждениями лагеря. Газета „Новый Мир", издание для военно-пленных (которая работала на германский империализм), приносила новые и новые известия о событиях в России. К концу января, имея у себя некоторые известия, более достоверно рисующие о положении России, путем присылки посылок (с аккуратной контрабандой писем, проходящей помимо немецкой цензуры), я стал подготовлять мнение лагеря, через посредство ряда товарищей, относительно предполагаемого переворота в России. К этому времени партийная работа была расширена, так как нам удалось ее легализовать при посредстве захвата в свои руки всех органов управления лагерной жизни, как то: ротные канцелярии, цензурное отделение, почту, комендатуру, а также и другие мелкие учреждения, куда нами были после долгих комбинаций поставлены свои товарищи. Для связи с городом нами была организована драматическая труппа. Конечно, это была только вывеска, ибо это была не труппа артистов, а лагерный комитет большевиков с группой активных работников. Устройство спектаклей нам давало возможность 2 раза в неделю посещать город, обманывая бдительность германских колбасников (в большинстве своем унтер-офицеры лагеря происходили из лиц, имеющих свои колбасные производства). Таким образом в каждой роте уже за несколько дней до Февральской революции велись ожесточенные бои между нами и всей остальной братией, включая меньшевиков и оборонцев. Должен заметить, что нам в агитации везло, так как крайне тяжелые условия в жизни русского военно-пленного не давали нашим противникам возможности с'агитировать войну до победного конца.

Февральскую революцию встретили почти все с удовлетворением. Находящиеся в лагере французы и анлгичане, особенно первые, их радости не было предела, конечно, они радость высказывали не потому,

что самодержавный строй рухнул, а лишь по одной причине, как это они об'ясняли, что дальнейшее царствование Николая повело бы к поражению России, а за нею и Франции. Они исключительно радость свою из'являли шовинистически и смотрели на событие с колокольни национальной заинтересованности. В день известия о русской февральской революции, партийным комитетом лагеря, несмотря на преследование немецкими унтерами, был проведен ряд массовок, с целью раз'яснения революции. Здесь на этих массовках, уже тогда нами были разбиты всякие иллюзии торжествующих и кричащих о войне до победы, Нами указывалось, что не война до победы, а поражение принесет власть рабочему, и что русским военнопленным солдатам не скоро придется видеть Россию, если они будут уповать на разгром Германии. Вечером, в этот же день был устроен спектакль. Ставилась пьеса „Маков цвет" в присутствии около 700 человек пленных русских, французов и англичан. После спектакля впервые партийный комитет лагеря решил устроить легальный митинг, где мне пришлось выступать. Товарищи давали мне намек, что бы я своим выступлением, особенно в присутствии немецких генералов и офицеров, не дал повода себя изолировать. Мною дано было вынужденное согласие, но большевик по натуре и жизни, таким, каким я был, не мог говорить под суфлера, и в течение полуторачасовой речи я сказал то, что необходимо было сказать большевику в исторические дни февральской революции. На другой день я был арестован. Особенно горячее участие в необходимости моего ареста принимали русские офицеры. Просидев под арестом 21 сутки, я был брошен на работу в соляные шахты. О том, как встречали октябрь и какой замечался перелом в кругах пленных русских, французских и англичан напишу в следующих воспоминаниях.

В. Старанников (Страдалец).

В ФЕВРАЛЕ 1917 г.

(Москва).

НАКАНУНЕ.

— Черта—с два! Натерпелись.

Скоро конец!—выпаливал молодой неизвестный мне рабочий, с которым мы вышли из редакции „Голос Печатного Труда". В узком кривом переулке было неприглядно, грязно. Невзрачные дома скрывали небо, давили. Я был под впечатлением посещения редакции—и только наполовину слышал возмущенные слова.

— Верно я?—подошел в плотную ко мне юноша в засаленной куртке с прокопченым лицом, на котором блестели большие искрящиеся глаза.

— Пророком быть... неуверенно пожал я плечами и усмехнулся.

— Пророком?—вскипел он и вызывающе кинул:

— А я вам заявляю: будет революция или в женский день или в маевку,

До Варварки шли молча и потом молча, не попрощавшись, разошлись в разные стороны, недовольные друг другом.

Предсказание рабочего—юноши обожгло меня. В воздухе действительно чувствовалась та особая духота, что обещает скорую грозу. Стихийное возмущение росло в рабочих массах и прорывалось иногда в самых неожиданных формах: в трамвайных скандалах подчас выливалась и гореч и негодование задавленных войной и эксплоатацией масс.

В уличных происшествиях порой клокотала такая сила протеста, жажды вынести наружу таившееся пламя гнева, что невольно сердце стучало тревожно и жгучее радостное предчувствие революции опьяняло мозг.

В это время рабочая пресса влачила жалкое существование. Это были очень тощие еженедельные журнальчики, к которым однако жадно тянулись сотни мозолистых рук. Тощие тетрадочки рабочих журналов прочитывались до дыр.

Читали любовно от заголовка передовой до об'явлений.

Все эти журналы были наперечет и сразу по возникновении становились—всероссийскими. Так в Екатеринодарском журнале „Прикубанские Степи" печатались корреспонденции из Москвы, Царицына, Харькова, Баку, Ставрополя, Петербурга и например рецензии о спектаклях рабочей труппы, игравшей в Москве. Большею частью, политические задачи эти журналы прикрывали вывеской профессионального или страхового органа, напр.: „Текстильщик" (Петроград), „Голос Печатного Труда" (Москва), „Вопросы Страхования" (Петроград). Были журналы и с более открытым забралом: „Рабочие Ведомости" (Петроград) и „Наше Слово" (Кинешма). Все эти журналы хотя и говорили вынужденно-придушенном голосом, но все-же алчущие и жаж-

дущие правды уста пили из них, как из единственного источника, утоляя огромную жажду. И за эти журналы хватались и тратили уйму энергии на их распространение. В этих журналах, закрывавшихся постоянно, велась упорная пропаганда и раз'яснение классовых задач пролетариата, иногда очень выпукло и ярко. С легальной литературой-брошюрами дело обстояло также очень неважно.

Сборники статей Ольминского, Ломова и др. „Под Старым Знаменем" Майского, Энзиса, „Марксизм и вопросы войны и мира" да брошюры Суханова—вот почти и все.

Правда, противовоенная пропаганда широко велась журналом М. Горького „Летопись", но все же это был толстый журнал. На страницах этого журнала не одна сотня истинных революционеров отдыхала от шовинистического тумана буржуазной и бульварной печати. Но массовое распространение журнала затруднялось по вполне понятным причинам.

Заграничные „Социал Демократ" и „Коммунист" многим также были недоступны.

С пачкой рабочих журналов я зашел в один из переулков Пятницкой улицы и долго искал во дворе помещение профессионального союза. Наконец опустился в какую-то яму и увидел там бородастых рабочих, разбиравших книги. На столе лежали книги о Сергие Радонежском, Серафиме Саровском. Я отшатнулся: туда-ли попал, нет, вижу, туда.

— Библиотеку открываем!—осклабился один из товарищей.

Я предложил—рабочие журналы, среди них были нелегальные брошюры. Журналы взяли на комиссию, а брошюры вернули с тревожным страхом на лице.

С каждым днем—росли хвосты у булочных. Как потревоженный улей гудела около хлебных лавок толпа женщин.

Жесты порой были угрожающие. В речах слышалось крайнее раздражение.

Тревога и недовольство росли на глазах—прорывались на каждом шагу—в мелочах. Полиция рыскала по городу, шли обыски и аресты.

В столовой студентов Моск. Коммерческого Института на М.-Серпуховке тоже орудовала полиция—разыскивая „крамолу".

Писал статьи для рабочих журналов. Весь ушел в работу. Свободно выливались мысли, заполняли бумагу. Оторвался. Работал второй день. Решил пройтись.

Шел по Б. Серпуховской. Замоскворечье имело обычный вид. Булочные заперты, без крошки хлеба. Из окон лавок выглядывали гнилые селедки и разная сомнительного качества снедь. Стояли понуро лошади извозчиков. С унылом видом шли откуда-то запоздавшие хозяйки.

Вдруг—ворота завода Михельсон распахиваются и оттуда вырывается возбужденная толпа с красным знаменем.

„Вставай, подымайся, рабочий народ, Вставай на борьбу, люд голодный!" гремит волнующая революционная песня.

Забываю свои рукописи, вливаюсь в толпу. Часть „рабочих" из пристроившихся работать на оборону лавочников старается улизнуть. Возмущенные рабочие хватают их за шиворот и толкают в демонстрирующую толпу.

Некоторые из бывших лавочников падают на мостовую—рабочая молодежь пинками загоняют их в общую массу.

— Назвались груздями.... смеется один из рабочих.

А красный флаг весело трепещет от разгуливаемого ветра, вызывающе машет хмурым ползущим по небу тучам. На тротуарах растет глазеющая обывательщина.

— Рабочие бунтуют....—кому то в гущу людскую отвечает котелок, любопытные успокоиваются.

— В Питере—революция—мелькают у меня в мозгу вчерашние слова товарища из столовки студентов Коммерческого Института. Демонстранты распевают песню за песней.

На Серпуховской площади к Михельсоновцам присоединяются какие то группы рабочей молодежи. Бурлящим потоком толпа вливается в Пятницкую улицу.

Победно и грозно реет песня. Великан—Сытинская типография—вырастает перед демонстрантами, закрывая небо.

В душе—переливается волнующая солнечная гамма настроений.

Радость румянцем расписывает лица. От негодующих призывных песен—напрягаются мускулы...

Предательским налетом из-за угла конная жандармерия с мясистыми лицами, зверски возбужденными, топчет толпу, свищет нагайками, оглашает воздух отборной руганью. Красный флаг подкошенным колосом падает на землю. Толпа в смятении рассеивается. И гордые баши-бузуки едут дальше, нагло посмеиваясь над своими недругами.

Надо сказать—это была последняя демонстрация, разогнанная полицией.

Последующие сборища оказывались сильнее усиленных нарядов царских архангелов и те прижимали хвосты и скакали куда глаза глядят.

Не раз и не два конную жандармерию травили и разгоняли—мальчишки. Они забирали в руки груды камней. Прятались за углами. И при появлении полиции—с криком „ура" чествовали градом камней царевых холопов.

А то забирались в дровяной двор, посредине Серпуховской площади и оттуда жарили поленьями в опричников.

Полиция кусала губы и постепенно исчезала с улиц, видя свое бессилие. Никого она не страшила и стала забавой для ребятишек, которые партиями расхаживали по улицам „играя в войну" с полицейскими патрулями. Более жалкого положения придумать было трудно.

На следующий день градоначальник строго на строго запрещает всякие сборища и скопления. Но его „прокламации" срываются.

Весть о перевороте в Петербурге, несмотря на отсутствие московских газет—пронеслась по всему городу.

На улицах необычайное оживление, всюду сборища и скопления, всюду рассказывают о питерских событиях.

Я бегу в казармы. Наши агитаторы уже пробрались к солдатам, за ними хлынули и граждане. В ротах идет горячая агитация. Офицерство собралось в отдельной комнате—уговоры представителя революционного комитета вызывают на их лицах недоверчивую улыбку, они говорят о военной дисциплине и отказываются подвергать риску вверенные им части. Победа революции им кажется призрачной. В ротах стоит шум, агитаторы сражаются с прапорщиками.

— Вы не знаете, какому риску подвергаете солдат!—говорит стоящий в толпе прапор.

— На расправу готовите—сотни!—вторит другой.

Солдаты мнутся, слушают тех и других.

— Чем вы гарантируете, какими фактами, победу революции—выкрикивает взволнованный поручик.

— Тем, что угрозы власть имущих—беззубы. Что несмотря на запрещение сборищ—улица бурлит. Власть—бессильна,—отпарировывает студент с красной повязкой.

Солдаты начинают протискиваться к выходу. На дворе уже несколько рот построились, ждут остальных. Вышедшие на крыльцо офицеры многозначительно отчеканивают:

— Не маленькие—знаете на что идете!

И провожают беспокойным взглядом двинувшихся солдат. Толпа идет за солдатами черной сгрудившейся массой.

Песня вырывается из сотни грудей и рокочет по улице, тревожа, радуя, возбуждая к действию, к чему-то непередаваемо солнечному и безумно смелому.

На Серпуховской площади—черная туча людей гремит от восторга, по людским лицам пробегает восторженная улыбка.

Опять не вышли газеты. На улицах черные ленты людей. Пролетают автомобили, проходят воинские части к Городской Думе. Каждая воинская часть, идущая к Революционному Комитету, встречает на своем пути безпрерывный перекатывающийся из улицы в улицу, из улицы в площади—восторженный гул толпы. Это переходящим на сторону революции солдатам—народ кричит от всей души оглушительное: „ура!“ По толпе ходит прокламация Р. С. Д. Р. П. (б.) с об'яснением событий.

Я читаю ее направо—налево и говорю, горячо, забывая все на свете.

Говорю в одной толпе, другой, третьей, четвертой, жадное внимание. Во время шестой речи—я вдруг почувствовал, что меня пронизывают, как копьями, враждебными взглядами. Оглядываюсь. Я—в кругу озлобленных людей, при том рабочих.

Они почти силой вырывают прокламацию, осматривают ее подозрительно.

— Не ладно!—хрипит кто-то.

— Вы не из охранки?—зло спрашивает некто в куртке.

Это враждебная струя реплик меня ошпаривает.

— Тащи его в Думу! Это—провокатор! Долой войну—разве это правильно? Вильгельму это на радость!—волнуется сероглазый пожилой мужчина.

— Все, как следовать говорит. А потом фальш подпущает. И хитрый-же народец—подмигивает рыжий.

Толпа движется кольцом, ведя меня с Красной площади к Думе. По дороге за меня вступаются знакомые товарищи, горячо и твердо. Толпа поддается и расступается. Я—потрясенный арестом, оскорбленный в лучших своих порывах, иду в свое Замоскворечье.

Несколько часов в душе бушует оскорбленное чувство.

— Так и рвут на расхват газеты. Над черным океаном людей, как пены волн—белеют листы газет. Все, как только покупают газету, тут-же ее развертывают.—Читающие представляют живописную галлерею лиц в самых разнообразных позах.

А вокруг гремят оркестры, реют сотни красных знамен, майской освежающей грозой рокочут революционные песни.

Беспрерывным потоком льются демонстрирующие толпы. Ими залиты улицы, площади, переулки.

— Триста лет стряхнули...—говорит в потертом пиджаке пожилой мужчина и горячие капли слез катятся по его возбужденному лицу.

— Заветная мечта революционеров сбылась. Теперь пришло время им отдохнуть—лепечет какая то девушка.

— Революция только еще началась!—отчеканиваю я—и главное еще впереди—подчеркиваю.

Девушка наивно морщит лоб. Лицо ее становится детски капризным. Вот-вот скажет: бяка! Не даешь порадоваться. Она отвертывается.

— Путь расщищен—и в этом огромная победа!—обращается ко мне молодой рабочий.

— Конечно, радость большая, но радость—радостью, а дело—делом—добродушно говорит просто одетый, по-видимому мастеровой.

На душе солнечно-бодро, радостно, напрягаются мускулы:

— Пусть сильнее грянет буря!

Леонтий Котомка.

В ЦАРСКИХ ОКОПАХ.

(Перед грозой в Аландузском полку).

Серые лица, землистые, не знавшие воды и мыла неделями. Фигуры согбенные в рваных шинелях. Мешки под глазами от бессонных ночей в карауле, „секретах“ бессменных. Сотни гложущих вшей. Они в рубцах гимнастерки, на теле, во всклоченных волосах. Тупая, забитая мысль в глазах. Рабская покорность в груди, бессловесная и слепая. И усталость смертная, безнадежная во всем теле, покрытом расчесами и волдырями от окопной, гнетущей и давящей сырости гробов—землянок.

Ночью—тьма в карауле тревожная, пронизанная острыми пулями, взрывами „вражеских“ мин. Ночью—окостенение в вьючной, жестокой, животной работе по рытью новых проклятых окопов в мерзлой земле. Долбежка мерзлого „черепа“ киркой, ломом, лопатой. Таскание на спине толстых бревен и досок, для устройства накатников над землянками и блиндажей. Протест придушенный от злой бессмысленности всех работ.

Пот на морозе. Вбиваются ломом колья, под огнем батарей, для проволочных заграждений. Напряжение чрезмерное. И приказ сносить колья. „Неправильно вбиты“ они. Не по линии. Несколько не ровно“...

Стоны—беседы:

— Оно и видать... Нас так загоняют работой, ненужной, нелепой, от которой не то, что в наступление, а в ад броситься можно...

Верный рассчет. Надо было солдатскую душу и тело настолько изранить и затереть, так измучить, забить, что-бы и наступление весеннее казалось спасением, выходом и концом животного круга страданий. Царский рассчет, щедрый по царски болями, муками, кровью.

Ночью—треск мускулов, звон в голове, немота в теле. Днем—несколько быстрых часов спячки тяжелой. Униженные окрики взводных. Оскорбления ротного. Зуботычины. Хруст уничтожаемых вшей, целыми пачками. Чистка постылой винтовки.

Днем—изступленность, перешедшая в косность. Не люди, а серые осьу Не люди, а мешки, начиненные рабским терпением, тупостью, теникazанию падающие, когда хочется встать, и встающие, когда хоп тся лечь и уснуть безпробудно, уйти, уйти из Домбровского леса.., о галицийских полей к себе в деревню. А нельзя уйти? Ну, так пусть еудет прокляты, все сюда нас загнавшие! Для чего? Зачем? Почему?

Вопрос „из-за чего мы воюем“ зрел наливался, дремал у истомленного изголовья, но не рождался, мерцал ожиданием смутным, туманным.

Не люди, а мешки с черной землей, как вон лежащие над бойницей. Податливы и покорны. Бездушные и слепые.

Тыл резко отрезан. Газета „Русское Слово“ в руках—признак крамолы. Расспросы: „где взял, кто дал“... И едкое, полное вязкой угрозы: „Гляди у меня... то-ж... образованный!“..

В душе, может быть, уже распускаются крылья грядущих парений. Быть может ростки и зачатки их распрямляются, готовые обна-

житься. Может быть. Но крепко льдом рабства и тьмы скованы чувства. Мысль затравлена беспощадным изгнанием. Отчаяние воем готовое вздыбиться. И не вопрос, а стенанье придушенное, шепот с острасткой, на земляных нарах в рукав:

— Когда-же конец? Быть ли концу?

И опять ползут вши по телу. Грызут ноги и грудь. Кишат муравейником. И опять ленты кривые окопов. Живые могилы. И небо снежное и морозное. И лес сосновый, куда штаб полка скрылся и пропадают окопы, стоит равнодушный, в молчаньи.

Таков зимний день к концу января, последнего царского года. Таков день, перед первым февральским ударом красной бури. В дневнике у меня здесь записано:

— Так дальше нельзя. Грань пришла. Страданья достигли бездны. Ниже еще—смерть чувству и мысли. Надо вставать. Я слышал вчера разговор двух незнакомых солдат. Мне один говорил, что „в наступленье не пойдем. Послали записку в тыл батарейцам. Пусть не открывают подготовительного артиллерийского огня по австрийцам. Обернем штыки тогда против них: полковника уничтожим. И фон-Бихтера—тоже“. Когда подошли к ним, умолки. Подозрительно оглядели. Какой роты, спросили. И ушли, гремя котелками, должно быть за супом. Разговор мною услышанный, передал я своим. Мне отвечали: „Дураки... Разве можно что нибудь сделать, если одна рота к чему то готовится, и мы вот не знаем. Надо сообща“...

Так записано в дневнике. Пред'вестником большого события был разговор незнакомых солдат. Дни текли. Тупость сменялась надеждой. Кто то нашел в лесу прокламацию, напечатанную на „ремингтоне“. В ней было письмо Гучкова к Брусилову, с указанием на Сухомлиновщину. Где то, что то росло, поднималось. Но в соседней роте порка опять. Прямо в окопах. За грубость офицеру.

Чаще и чаще рядом зубовный скрип. Чаще и чаще угрозы начальству. И оно насторожилось. Остервенели, бьют по щекам. Не в меру прогуливается по окопам, вылезши из землянок.

— „Что то будет“,—висит в воздухе колком, морозном. И случилось внезапно.

Готовился смотр корпусного начальства. Кипела работа. Очищались от снега окопы. Расширялись. Их мерзлые стены топорами срезались. Работа шла круглые сутки, выбивались из сил. Было приказано также расширить ход сообщения из лощины, ведущей на передовые позиции. Начальству удобнее будет подкатить под прикрытием на автомобиле, к окопам. Что то сжалось внутри. Что то прорвалось в груди. Засветились людские глаза, рассеченные колким приказом. Загорелись огнем. Стиснулись зубы. Может быть пелена тьмы срывалась?

— Может быть.

Опушка вечерняго леса. Мачтовые сосны и ели взывают к высокому небу. Лес граничит с шоссейной дорогой. Теряется в смутной дали. И то же падает в небо стрелой.

Солдаты строятся на работу. Звон прикладов. Тугое молчание. Редкость движений. В углах губ подергиванье злобной решимости. Какой? К чему?

Выстроились на шоссе. Команда:—к саперным землянкам за инструментами! Тронулись. Новое в звуке шагов. Необычайная бодрость, надежда. Крепость и легкость.

Пришли. Разбирать стали ломы, кирки лопаты. Построились вновь. И на команду „марш“—не двинулись с места.

Случилось неслыханное. Хриплый крик командира, приводивший в движение живые машины, повис в воздухе. Люди словно в землю вросли. Заревел офицер новой командой, не веря глазам своим. И не поверил ушам, когда из сотен грудей, четко и резко вырвался крик:

— Не пойдем на работу. О-о-о!.. Не пойдем!..

Побледнел офицер. Шпоры задрожали. Грудь горой заходила. Рот покривился. Перегнулся всем телом.

Был нанесен удар неожиданный, ошеломляющий, всему строю и быту жестокому. Команда—стрежень всей царской армии, команда „смирно“ сломалась, обвисла. Руль, забиравший глубоко воду послушную, завертелся вдруг в воздухе. Забился беспомощно. Офицер растерялся.

Солдаты прижались друг к другу плечом, стиснув винтовки. Стояли готовые ко всему. На жизнь и смерть слитые.

Прокричал зверь в лесу. Родилась массовость действий. Затрепетала над головами сила незримая, беспощадная, вот, вот готовая вылиться в формы железные и расплавив мороз, мороз всей жизни позорной, вздрогнуть заставить готовая всех ей противящихся.

Вздрогнул офицер. Вздрогнул полк, затрещав телефонами. Зашаталась земля у него под ногами. Забегали командиры. Прискакал батальоный. Угрозы и увещания. Мольбы не делать „несчастья“ и топот: „расстреляю“!..

Ослушание выдерж но без сговору, стихийно. Рота отведена была обратно в землянки. Ни к чему не привело требование выдать „зачинщиков“. И обещания всех расстрелять... сорвалось бессильно. Вдруг, из праха рабской покорности, косности, непротивления вырос вал неприступный, гордый, упорный, решительный. Грядущая буря великал, разряжалась сверканием молнии. Гром приближался.

Наказать „подлых крамольников“ и не успели.

Шел Великан.

Сотрясение близко.

* * *

Сарай полуразрушенный. Крыша разбитая. В углу яма вырытая. Горят в ней поленья сырые. Завеса дыма. Отверстие двери занавешено старой, дырявой палаткой. На животе лежат люди. Горят штыки пламенем. Головы наклонены к земле низко. Трудно дышать. Слезятся глаза.

Впереди за сараем посты сторожевые. Ни выстрела. Изредка ракеты, шипяще в снег зарывающиеся и сквозь двери палатки сарай коротко освещающие.

В руках солдата обрывок газеты. Только что из другой роты передана. Заголовки глаза прорезают: „Свержение Николая“. Два дня переворот от роты скрывался.

В голове и в груди пребывание чего то странного, непонятного. Почему стыдливо и незаметно утирает слезы Андронов? Почему тихо? Кто говорит, что войне теперь крышка?...

Земля горой кажется высокой, головокружительной. Вот, вот шапкой небо достанешь. Тихо оттого что так разве нужно? А покричать нельзя? Хоть немножко. Выкричать что то нужно.

Андронов словно подслушал, мысль пронесшуюся. Раньше тихо потом все громче и громче стал тянуть одну ноту. И разом все подхватили. И разом закричали голосом освобождения. И разрывалась ветхая крыша сарая. И несся крик из сарая на волю.

Опьянение. Голова кружится.

Заколыхалась палата. Несколько офицеров во главе с ротным командиром. Никто не поднялся. Не раздалась команда обычная: „встать“!

Глаза вошедших устремились на клочек рваной газеты. Фигуры с'ежились, погоны поблекли.

Ротный проговорил голосом ровным и сдержанным:

— Разве старшего нет? Почему вы лежите?.

Минуту молчания. И в ответ ему смех оглушительным выстрелом. А один солдат вскричал гневно и страшно.

Значит встать?..

И он стал с земли подниматься.

Метнулись полы шинелей и мгновенно пропали в провал палатки.

Смех в догонку и песнь.

З. Чаган.

1-го марта на Рижском фронте.

(1917 год).

Мы лежали на вшивых нарах и занимались тем, чем занимаются полки на „отдыхе“, в 3-х верстах от окопов.

Рядом со мной лежал взводный 3-го взвода, сибиряк с толстыми, рыжими усами и фельдфебельскими погонами. Он сосредоточенно скреб рукой на животе и уныло тянул рассказ про „хорошие“ стороны Сибири. Я слушал его бормотание, плохо вникая в содержание рассказа. Все это я слышал, все надоело, в голове мысли придавлены были, как стопудовым камнем,—недавним растрелом многих солдат за отказ идти в наступление.

Собрали нас ночью, в землянках, повзводно и прочли приказ о растреле „изменников“. Растреляли их рано утром, на заре в лесу. Растреливали их офицеры из пулеметов... Тускло мелькала коптилка, чернотой освещая лицо „ротного“, издавшего приказ.

„Негодяи, посягнувшие на измену, положили на полк вечное позорное клеймо“—читал „ротный“. Мы стояли, понурив стриженные головы, и тихонько, чтоб незаметно было, гоняли за рубахой вшей. Приказ прочитан, ротный рассказал ультро-похабный анекдот из офицерской жизни, чтоб поднять настроение. Ушел.

Р-р-раазойдись.—проревел фельдфебель.—Да смотряй у меня, если услышу про это разговор, зубы вышибу, мать вашу......

— БАУШКИН!—толкнул меня в бок сибиряк:—А ведь, стервецы—они, а?

Кто стервец? Чего мелешь! Переспрашивал я его, не понимая, и с удивлением рассматривал его лицо, красное и перекосившееся от злобы.

— ОКУНЕВ! Баталионный! Он, ведь, расстреливал, а, сукин сын, плакал на молебне перед боем. БАУШКИН! а.—Я молча отвернулся.

А утром 1-го марта нас выстраивали перед землянками. Мы топтались по снегу, как куча баранов, не зная куда и зачем нас хотят вести.

Шли рядами, по отделениям, по широкой дороге, укатанной автомобилями и солдатскими ногами. Баталионный, верхом на лошади, лупил нагайкой по головам солдат, требуя, чтоб шапки „сидели на башках лихо“. Грызла душу обида за скотское обращение, злоба звериная тихонько шевелилась в груди. Мороз жег уши и нос. Прошли на плац. Начались артикулы, матерщина... Левой! Правой! „Крепче ногу!“. Нас готовили к параду, а от долгой, окопной жизни мы разучились давать „Крепче ногу“. По лицам солдат бродило недоумение, ибо парад готовился в неурочное время. Долго гоняли по утоптанному снегу, болели поясницы, с лица струился пот. Построили побатальонно, взмокшие от репетиции, стынем, ждем приезда начальства „ЕДУТ“!—Трагическим воплем сообщил дозорный. Смирно! Заметалось по воздуху.—„Для встречи справа слуша-а-а-й-й на-а Караа-аул!“. Заиграла музыка, распустилось тяжелое знамя. По дороге из леса мчался черный автомобиль с начальством. Толстые, сытые вылазили из автомо-

биля в меховых шинелях с большими воротниками. Поздоровался. Зравв-на-ва-ва эхом улетело в лес. Пытливо всматривался в лицо солдат обходя фронт. От холода ломят ноги, зубы лязгают,—хоть-бы движения какого. Здороваются со вторым, третьим баталионом. „Вольна-а". Прыгаем на месте, руки не повинуются, чтоб свернуть закурить. „СМИРНА-А-А!" Опять застыли, как сфинксы, с тупой злобой смотрели в мохнатую широкую пасть ротного. Коротконогий командир полка к нам приближался. Не дойдя десяти шагов, врылся в снег своими каратышками и, вынув клинок шашки, заревел голосом надтреснутого колокола: „Братцы! Подходи ближе, без команды, кругом, плотней!" Мы окружили его плотным кольцом, перестав удивляться сегодняшнему необычаю.

— „Слушай внимательна-а-а!" орал коротыш.—„Братцы, свершилось великое историческое дело; министров по шапке!" Коротыш махнул рукой, изобразив по шапке.

— „Теперь вековая стена, которая разделяла царя от народа рухнула, царь и народ слились воедино, царь отец—мы его дети, народные представители—государственная дума, будут трудиться вместе с отцом—царем на благо родины, Родзянко. Милюков".. Сердце оторвалось и покатилось, в висках застучали молотки, мысль как молния: „Вот оно начинается"... —Доведем войну до победоносного конца, да здравствует император Николай второй!" Дико-радостное, необ'ятное ревело: „Ура".

Выстраиваясь к церемониальному маршу, солдаты громко говорили, сморкались, курили,—дисциплина сразу стала понижаться. Тупые серые лица солдат словно сняли маски, стали одухотворенные, блестели глаза, играли губы. Офицерство собралось на левом фланге, как-то сразу оставив солдат одних. В груди клокотало, хотелось большого, необ'ятного,—революци....

Многие не поняли речи полковника, но по интонации его хрипа, по необычайной обстановке, инстинктом поняли, что начинается что то хорошее, грозное для золотых погон и радостное для солдат. Рабы познали, что господин заколебался в своей власти над ними.

Вырос вдруг инстинкт борьбы за свое право личности, свободы захотелось так, как умирающему в знойной пустыне от жажды пить. Проходя церемониальным маршем мимо дивизионного генерала, солдаты весело и как-бы не всерьез отвечали на его. „ЗДОРОВО ОРЛЫ" без страху и задорно. А когда, 3 марта, меня, забинтованного и окровавленного, тащили на носилках по скользким лестницам в Рижский лазарет, оглохший и в полубредовом состоянии я видел необычайно большие массы солдат и вольных, ослепленных солнцем, двигающихся по улицам Риги В палате, около моей койки, меня обступили кучи раненых солдат, и, не зная, что я не слышу, что-то кричали мне, жестикулировали руками, гримасничали, стараясь что-то сказать или спросить.

Поминутно теряя нить мысли и плохо владея языком, я об'яснил кое-как, что я не слышу и не понимаю.

Белая, как мрамор и нежная, как лилия, сестра поднесла к моим глазам газетный лист, на котором я прочел:

Рижское утро. 3 марта.

Царь отрекся от престола. Революция в Петрограде.

Я потерял сознание.

Виктор Бабушкин.

ДВЕ КАРТИНКИ.

1914 год. На берегу Каспия в Ракуше русские и иностранные хищники плетут паутину за паутиной для жестокой эксплоатации киргизского населения. 40—50 коп. заработок при невыносимо каторжном труде по колено в грязи. Больше „азиаты" не имели права зарабатывать.

Дьявольская хитрость „белым рабам" допускала заработок до 3—4 руб. в день. Каждому русскому рабочему вменялось в обязанность эксплоатировать 5 человек киргиз. Работа сдавалась сдельно. Отсюда—вражда и недоверие к русским рабочим и торжество господ. Недовольство на этой почве среди немногих сознательных рабочих возростало. В это время работал сорганизованный мной кружек, куда входили немногие бакинские рабочие, из них более видные т. Кузнецов и Сильверстров (через посредство них велась переписка с Баку) и сормовский рабочий тов. Лапин. Незнание киргизского языка не давале возможности вести работу среди них, а это было можно: эксплоатация немилосердна и беспощадна.

Помню киргиза Юсупа, хорошо владеющего русским языком. Стройный красавец, не могущий мириться с рабским угнетением, выражавший это не словами, а взглядом черных глаз—неумолчно, беспрестанно.

Сблизились мы в киргизской кибитке.—„Что, Юсуп, плохо живется?" спросил я. Он нервно вскочил с кошмы, глаза его блистали ненавистью. Подбежал ко мне, схватил за обе руки: „Русский много знает, зачем молчиш? Я вижу, ты хороший человек. Помогать надо, так жить нельзя. Русский бедный, киргизин бедный. Это два брата".

Во всех его движениях и голосе чувствовалось, что в нем просыпается вольный степной богатырь, которому можно поверить. Мы разговорились. Разошлись под утро с полным сознанием предстоящей громадной работы по сближению русского рабочего и киргизского бедняка. О нашем разговоре я рассказал т. Кузнецову и др.

Встречи с Юсупом стали происходить ежедневно. Я передавал ему, что надо делать и как вести работу среди киргиз. Около него стала группироваться молодежь. Взгляды на нас, русских рабочих, изменились. Рознь, посеянная капиталом, стала сглаживаться. Мы со своей стороны повели работу среди своих товарищей. Администрация насторожилась, видя сближение рабов. Всеми средствами пыталась допытаться откуда это исходит. Но работа нами и Юсупом была поставлена удачно, и ей этого не удавалось.

Спайка росла. Доверие друг к другу крепло, национальная рознь изживалась. В это время вокруг заводов рыли канавы, которые должны были быть их защитой от напора воды во время так называемой моряны. Работа невыносимо каторжная. Работающие здесь киргизы получали 80 коп. в день, от солнца до солнца. Решили здесь нанести первый удар хищникам. Юсупу даны были указания: через 3 дня рабочие не работают, выставляя требование увеличить заработок до 1 р. 20 к. и сократить рабочий день до 9 час. Неработают полтора дня. Это был конец марта. Скоро начинались весенние ветры. Тре-

бование удовлетворили. Администрация скрипит зубами. Среди киргиз слыхать слова: „пролетарий киргиз русь один". Братский взгляд на проходящего синеблузника. Летом из Баку получаем письмо о забастовке. Началась лихорадочная работа к подготовке таковой и в Ракуше. Среди рабочих брожение, перешептывание, агитация растет. Администрация заводов Нобеля и Уральского Каспийского в беготне. Откуда то являются ингуши-стражники. Поселковая полиция увеличена казаками. Около заводов и поселка по ночам раз'езжают патрули. Работать стало опасней, но веселей. Собирались верстах в семи от Ракуши, среди холмиков кладбища—человек 30 киргиз и нас русских чел. 7. Обсуждали одно: как и когда начать забастовку. Вечером перед окончанием работ подходит ко мне стражник-ингуш, зовет идти в контору. Догадываюсь отчасти в чем дело, прихожу. Приготовлена пачка денег и паспорт. Просят расписаться. Отсюда с казаком отправляюсь в казарму за вещами. Сажают на вагонетку и гонят к морю. И все это молча. На море приготовлена уже лодка и на парусах в Гурьев. Дорогой узнал от отвозившего меня рыбака, что высылаюсь из Ракуши как неблагонадежный. Кто же продал? Сверлило мозг. И злоба, неудовлетворенность душили до слез. В Астрахани уже разговор о войне и манифест: „волей Божьей". И пошел затуманенный рабочий на рабочего другой страны.

Капитал восторжествовал.

17-й год. Скованное льдом Белое море, и стонет скованный по рукам и ногам рабочий класс. Кругом лед и цепи. Цепи и лед. В 12 верстах от города Кеми Архангельской губ. расположен Попов остров, (впоследствии большевистское гнездо). Та же картина безудержной эксплоатации калужских мужичков под лозунгом „все на оборону страны" и „до победы".

Жуть берет и одна неотвязная мысль в голове: когда же конец?

Рабочий Зиновкин с Киевского механического завода возмущается на каждом шагу. Организации нет. Рабочие ходят понуря голову. Я только что прибыл. Все незнакомо. Из расспросов выяснилось, что часть рабочих имеет революционное прошлое. Кое-кто понюхал ссылки в 5-й год. Поработать есть с кем. Калужане в большинстве крестьянство. Есть и пролетирии с разных концов России.

Стал я подготовлять почву, завязывать связь с рабочей средой. Февраль проходит только в ознакомлении. В начале марта из Питера долгожданная весть: революция. Царя нет. Арестован, отрекся, вступил Михаил. Слухи растут. Что делать? Только слухи. Как проверить? Получаемые телеграммы задерживаются в Кеми. Связи нет. Рабочий вулкан бурлит. Кругом кучки, разговоры. Инженерство попряталось. Догадываешься почему и начинаеш верить, что пришла она великая пролетарская освободительница. В углу слесарной мастерской за лесопильным заводом раздается марсельеза. В обед в казарме за обедом водолаз Балтийского флота из ратников (фамилию позабыл) запевает интернационал. Подхватывают, выносят на улицу. Тайное становится явным. По казармам идет инженер Захаров, читает скрываемые до сих пор телеграммы. Тут началось. Рабочее море забурлило. Появились красные платки. Кое-как прибивают к шестам, готовятся вступить в общий рабочий стан с красными Питерцами.

Всю ночь никто не спит. Утром прибегает солдат из местной караульной роты с жалобой на ротного командира—на издевательство и мордобитие.

Идем в казармы. На плацу роту гоняют бегом. Нужно обезоружить господ. С кузнецом Зиновкиным входим в помещение для „господ офицеров“. Враждебные ненавистные глаза устремлены на нас. Входят еще человек 5 рабочих. Отбираем оружие. Требуем прекратить гонку солдат. Все вместе выходим из помещения. Один из офицеров вступает в пререкания. Лезет в задний карман. Догадались. Схватили, обыскали второй раз; нашли браунинг. И ударом доски в голову снесен офицерский череп...

А потом? потом травля, гнусная провокация, что большевики шпионы, что Ленин работает на германские деньги.

Чудовищно растет, распространяется черная липкая грязь, затуманивая головы рабочих.

В этой грязной работе больше всего виновны социал-предатели из шайки Мартова и К° и авантюриста Керенского.

Капитал со своими прислужниками здесь не обманул.

Рабочий пошел к октябрю...

Ефремов.

Что я помню из первых дней февральской революции.

В начале 17-го года, число и месяц не помню, ночью часа в три—четыре слышу разговор хозяев квартиры,—о чем то шепчутся. Спрашиваю: „что случилось?“ Хозяин отворяет ко мне в комнату дверь и шепчет: „В Питере неладно, царя столкнули. Переворот“. Я изумилась, хотя и раньше слышала, что после этой войны должна быть революция.

Мигом одеваюсь, встаю. Идем в город (квартировала на Царевской между Михайловской и Казачьей). Приходим к „Вестнику“. Там на куче снега читают студенты телеграмму. Пристава и полицейские стоят у стены около дверей. На них никто не обращает внимания. Всю ночь и следующий день я была на улице. Забежала погреться к Красникову. Кухарка стала упрекать меня „красносотельной“. Я с ней спорила, а сама еще все плохо понимала.

Весь этот день возили оружье, водили полицейских, околодочных. Я страшно была довольна.

Вскоре стали везде собрания, на них споры. Ни одного собрания я не пропустила, хотя мало отдавала себе отчета в том, что творится.

Просила хозяйку рекомендательной конторы устроить собрание домашних прислуг, она обещала, но так и не сделала.

Помню собрание женщин в б. ресторане „Аполло“. Я приняла его за наше, рабочее. И когда выступили т. Цейтлинг Р. и ее муж, мне казалось, они разбивают наше женское собрание. Они призывали идти вместе с рабочими, рука об руку женщин с мужчинами.

Тут я довольно резко и грубо обошлась с ними.

Я верила дамам, которые собрали нас. А они, как я узнала потом были „либералки“ из буржуазного круга и хотели создать общество женского равноправия, и вначале по темноте своей вместе с ними была и наша публика.

Я надеялась, что эти дамы устроят и наше собрание, домашней прислуги. Высказала все здесь т. Цейтлинг в большом волнении; она не обиделась, все расспросила меня. Через несколько дней вижу об‘явление—собрание домашней прислуги. Здесь и началась моя работа. Тут в народной аудитории было мое первое выступление. И дамы тоже пришли, хотели сесть на трибуне, руководить нами, но им не дали. И на этом собрании была прочитана телеграмма о равноправии. Народу полна аудитория. Пели революционные песни.

5 апреля снова назначено собрание. На нем выбрано наше правление из 7 товарищей. Я была организатором и казначеем. Средств у нас не было никаких. Добывать их стоило многого. Мы ходили по домам и записывали прислуг в союз. А делать это трудно было. Часть сама не шла—не понимала. А то и со двора выгоняли камнями и с лестницы спускали—делали это хозяева. В одном лазарете на углу Александровской и Московской доктора и фельдшерицы научили хожаток избить меня. Я тогда еще не знала, что интеллигенция не с рабочими.

На первую демонстрацию мы сделали флаг самодельный из 2-х аршин сатину. И когда мы вышли с ним, многие над нами смеялись.

И в это же время был флаг женщин буржуазных. Рабочие гонят нас к ним—„идите с женщинами". А они не принимают нас с нашим лоскутком.

Помню первый конфликт между прислугой и хозяйкой пришлось улаживать союзу. Сама не зная что сделать, я пошла к т. Кубрякову. Сначала угрожали согласительной комиссией, но все таки был улажен в нашу пользу. А когда правление союза нашего не имело квартиры, то нас пустили в „Маяк" (Царицынская ул.), дали уголок стола, а вся контора наша была в пудовичке. Продолжалось это месяца 2—3.

Когда вошла я в члены совета, тут меня удивил спор на разный лад: одни свое, другие свое.

И из этих трех партий я по духу и по плоти чувствовала большевиков за своих.

Припоминаются мне первые заседания Совета в марте, с меньшевиками и эсерами. И когда я увидела собравшихся, то задала товарищам вопрос: что это значит, все выхолены, вычищены, а рабочих совсем мало?

И когда выступал один оратор за другим, мне было мало понятно о чем спорят. Но мое мнение сразу было в сторону Васильева и Антонова. Тут, не помню из за чего, поднялся спор, шум. Особенно во время перерыва. Стали разбиваться на группы. Один военный пригрозил даже мне: „замолчи, а то выкину за окно".

Было много и других бурных собраний Совета.

И смешно становится, как вспомнишь все выступления эсеров и меньшевиков, как они фальшиво хотели увлечь рабочих. Иногда, я задумываюсь и задаю вопрос: что бы было, если не сумели бы большевики прогнать всех Чертковых и Телегиных? Наверно давно была бы монархия!..

Анна Степановна Куклина.

ОГЛАВЛЕНИЕ.


5

